

# 18+ Калкан времени. Невеста темного дома



Яна Малова

**Капкан времени.  
Невеста темного дома**

«Издательские решения»

**Малова Я.**

Капкан времени. Невеста темного дома / Я. Малова —  
«Издательские решения»,

Дарина, молодой специалист, фельдшер, отправляется в отпуск на Кавказ, но теряет сознание в больничном лифте и приходит в себя в XVIII веке — в теле невесты мрачного князя. Здесь её пышная фигура считается даром, медицинские знания — колдовством, а сердце опасно тянется к Чёрному Барсу. Но в Тёмном Доме её ждут заговоры, война, тайна прошлого и выбор между двумя мирами. Сможет, а главное, захочет ли героиня вернуться в свое время?

© Малова Я.

© Издательские решения

## Содержание

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Глава 1. Отпуск, который я заслужила | 6  |
| Глава 2. Когда тело предаёт          | 14 |
| Глава 3. Между этажами               | 19 |
| Глава 4. Не в Канзасе                | 27 |
| Глава 5. Чужая невеста               | 34 |
| Глава 6. Тёмный Дом                  | 40 |
| Глава 7. Темный Дом                  | 44 |
| Глава 8. Янтарные глаза              | 47 |
| Глава 9. Глаза в глаза               | 51 |
| Глава 10. Правила чужого мира        | 53 |
| Глава 11. Фельдшер поневоле          | 61 |
| Глава 12. Ужин с волком              | 67 |
| Конец ознакомительного фрагмента.    | 68 |

# **Капкан времени. Невеста темного дома**

**Яна Малова**

© Яна Малова, 2026

ISBN 978-5-0071-2582-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Глава 1. Отпуск, который я заслужила

Дарина

Маршрутка воняла бензином, козым сыром и чьей-то героической верой в то, что дезодорант — изобретение для слабых духом.

Я вцепилась в поручень, когда «Газель» вильнула на очередном повороте серпантина, и меня швырнуло в соседа — широкого, молчаливого деда в папаше, который даже не покачнулся. Посмотрел на меня, как горы смотрят на облака, — с вечным терпением и лёгким снисхождением, — и продолжил жевать свой лаваш.

— Простите, — пробормотала я, пытаюсь впихнуть себя обратно в пространство между ним и стенкой маршрутки.

Себя. Всю себя. Пятьдесят второй размер себя.

Нет, вру. Пятьдесят четвёртый. Пятьдесят второй был в январе, до того, как Игорь сказал то, что сказал, и я две недели питалась исключительно тортами, слезами и жалостью к себе. Теперь, наверное, пятьдесят четвёртый. Я не проверяла. Я вообще выбросила напольные весы в мусоропровод на следующий день после разрыва, и это, между прочим, было единственное решение за последний месяц, о котором я ни секунды не жалела.

Маршрутка нырнула в тень нависающей скалы, и я прижалась виском к стеклу. Прохладное. Грязное. Со следами чьих-то пальцев и одинокой мухой, которая билась между рамами с упорством, достойным лучшего применения.

Я её понимала. Я тоже всю жизнь билась в стекло, пытаюсь вырваться куда-то, где воздух чище, а люди не смотрят на тебя так, будто ты заняла чужое место.

Хотя — чего уж. Место в маршрутке я действительно заняла. И даже немного прихватила соседское.

За окном плыли горы — совершенно невозможные, неприличные в своей красоте. Хребты громоздились друг за другом, как великаны, заснувшие стоя, и солнце ложилось на их бока золотым маслом. Ущелья были залиты синевой, а где-то далеко внизу, в нереальной глубине, блестела ниточка реки — тонкая, как серебряная цепочка, которую Игорь подарил мне на полгода отношений и которую я так и не смогла заставить себя выбросить.

Цепочку не выбросила. А весы — пожалуйста.

Логика у меня всегда была своеобразная.

«Газель» подпрыгнула на ухабе, и я прикусила язык. В буквальном смысле — до крови. Во рту стало солоно. Внизу живота протянуло — тупо, лениво, как перед месячными, только до них было ещё дней десять. Я машинально прижала ладонь к животу и тут же убрала: дед покосился.

Ничего. Дорога. Тряска. Шаурма с вокзала, которую я купила у мужчины с золотым зубом и глазами побитой собаки. Пройдёт.

Всё всегда проходит. Это мне ещё бабушка говорила, царствие ей небесное, пока подкладывала третью котлету: «Кушай, Даринка. Жизнь — штука длинная, а худые быстро ломаются».

Бабушка была мудрая женщина. Бабушка весила девяносто килограммов и прожила восемьдесят семь лет. Бабушка не знала слова «бодипозитив», но если бы узнала — одобриительно кивнула бы и положила бы ещё котлету.

Я улыбнулась. Потом перестала.

Потому что вспомнила Игоря.

Игорь Александрович Комаров, двадцать восемь лет, фитнес-тренер, специализация — функциональный тренинг и коррекция фигуры. Рост метр восемьдесят пять. Кубики пресса — восемь штук. Зубы — белые, как в рекламе. Мозг — опционально.

Мы познакомились в «Пятёрочке», в очереди на кассу. Романтично, да? Он стоял передо мной с протеиновыми батончиками и куриной грудкой, я — с пельменями и шоколадным мороженым. Он обернулся, посмотрел сначала на мою корзинку, потом на меня, и сказал: «Тебе бы вместо пельменей — индейку на пару. С таким лицом и фигурой можно конфетку сделать, если поработать».

Это, видимо, должен был быть комплимент.

Я, видимо, должна была растаять.

Вместо этого я сказала: «Спасибо, но я и так конфетка. Просто трюфельная, а не карамелька на палочке».

Он засмеялся. Красиво. У него были ямочки на щеках, и когда он смеялся, вокруг глаз собирались лучики морщинок, и выглядел он... ну, как мужчина, рядом с которым хочется быть лучшей версией себя.

Проблема была в том, что «лучшая версия» в его понимании означала «на тридцать кило легче».

Первый месяц — эйфория. Он красивый, внимательный, открывает двери, платит за ужин, пишет «доброе утро» с тремя сердечками. Я летала. Я, Дарина Ковалёва, фельдшер скорой, которая привыкла, что мужчины смотрят сквозь неё, как сквозь стекло, — летала. У меня был парень. Красивый парень. Парень, у которого есть кубики.

Второй месяц — появились нюансы. «Дарин, может, не будешь десерт? Мы же договаривались». Мы не договаривались. Он договаривался. С самим собой. За закрытыми дверями своей черепной коробки, где обитали три мысли: белок, кардио и калории.

Третий месяц — абонемент в его зал на день рождения. Я ждала серёжки. Маленькие, серебряные, с лунным камнем. Я даже ссылку кинула — невзначай, между «как дела» и «спокойной ночи». Получила абонемент на год. С припиской: «Будем вместе работать над тобой!»

Над тобой.

Как будто я — проект. Объект для реновации. Квартира, которую надо отремонтировать, прежде чем в неё можно будет привести гостей.

Я не сказала ничего. Улыбнулась. Поблагодарила. Сходила три раза — и все три раза ловила на себе взгляды его коллег. Оценивающие. Удивлённые. «Это Комарова девушка? Серьёзно?»

Серьёзно.

Я перестала ходить в зал.

Игорь перестал ставить сердечки.

Потом был пляж. «Кит выбросился на берег». Молчание.

Потом было «ну ты же понимаешь, если бы ты немного похудела...»

Потом было «мне нужна девушка, за которую не стыдно».

Стыдно.

Восемнадцать месяцев отношений, упакованные в одно слово, как в мусорный пакет.

Я не заплакала. Ни тогда — у двери, глядя в его красивую виноватую спину. Ни потом — на полу в коридоре, три часа, глядя в стену. Слезы — это была бы реакция. Эмоция. Живое чувство. А я в тот момент была пустая, как консервная банка, из которой вычерпали всё содержимое, а саму банку смяли ногой и бросили у обочины.

Торт «Прага» — два килограмма — помог. Немного. На время. На то время, пока рот занят, и мозг переключается с «стыдно» на «божечки, какой крем».

Потом было ещё два торта, четыре коробки пельменей, литровое ведерко мороженого и один рассольник — бабушкин рецепт, который я готовила в три часа ночи, рыдая над кастрюлей.

Ладно, я всё-таки рыдала. Но только над рассольником. Это не считается.

— Дёвушка! — Дед в папахе ткнул мне в бок твёрдым локтем. — Спишь, да? Приехали почти. Твоя остановка скоро.

Я очнулась от воспоминаний, как из воды вынырнула, — рывком, глотая воздух. За окном горы стали ближе, круче, острее. Дорога нырнула в ущелье, и тени легли на маршрутку, как холодные ладони.

— Спасибо, — я попыталась выпрямиться. Спина затекла. Живот ныл — не сильно, но настойчиво, будто кто-то внутри медленно натягивал струну.

Дед протянул мне лаваш с сыром — отломил кусок от своего, без спроса, без церемоний. Сыр пах резко, остро, по-козьи, и в другой ситуации я бы, может, поморщилась. Но здесь, в грохочущей маршрутке, между небом и пропастью, этот лаваш с сыром был самой человеческой вещью в мире.

— Спасибо, — повторила я.

— На здоровье. Худая приехала, кушать надо. Зулейха тебя откормит, не переживай.

— Я не худая.

Дед окинул меня таким взглядом, каким, наверное, скотовод оценивает бурёнку на ярмарке: профессионально и без намёка на осуждение.

— Худая, — вынес вердикт. — Бледная, зелёная и худая. Кушать надо и спать. На, ещё кусок.

Я хотела объяснить ему, что в моём мире — там, откуда я приехала, в мире блогеров, фитнес-марафонов и сорокового размера, — я была чем угодно, но не худой. Что мой бывший парень смотрел на меня и видел проблему. Что моя мама, сама-то не стройняшка, каждый раз при встрече оглядывала меня с ног до головы и говорила: «Опять поправилась?» — таким тоном, будто я совершила тяжкое уголовное преступление.

Но дед жевал лаваш с выражением полной гармонии с мирозданием, и что-то подсказывало мне, что в его системе координат слово «диета» попросту не существовало.

Я съела сыр. Вкусный. Солёный. Живой.

Живот тянуло.

Кара-Юрт вынырнул из-за поворота — не город, не посёлок даже, а горстка каменных домов, рассыпанных по склону так, будто кто-то нёс их в ладонях и случайно просыпал. Плоские крыши, каменные заборы, на верёвках — ковры, бельё и что-то мясное. На скамейке у фонтана — три старика в одинаковых папах, как тройка мудрецов на совете.

Маршрутка остановилась с астматическим вздохом. Водитель — молодой парень с серьёзом в ухе и выражением вселенской скуки — обернулся: «Всё, конечная. Дальше ногами».

Я вытащила чемодан. Он был неприличных размеров — Ленка настояла: «Бери всё, вдруг свадьба, вдруг поход, вдруг бассейн!» Бассейн. В горном ауле. Ленка иногда жила в мире, параллельном здравому смыслу, и это, честно говоря, было одной из причин, почему я её любила.

Чемодан грохнул о землю, я выпрямилась и замерла.

Горы.

Они стояли вокруг — плотно, стеной, как стража, — и были так близко, что казалось, протяни руку — и коснёшься. Небо между вершинами было синим до неприличия, до дрожи, до слёз. Воздух... Я вдохнула — глубоко, до самого дна лёгких — и чуть не закашлялась. Он был густой, как бульон: травы, нагретый камень, сосновая смола и что-то сладковато-дымное, домашнее.

В Ростове я дышала бензином и нервами. Здесь воздух был как еда. Ещё один кусок, и лопнешь.

— Дарина? Дарина!

Она вылетела из калитки — маленькая, круглая, стремительная, как шаровая молния в цветастом платье. Чёрные глаза-маслины, улыбка на полморды, платок сбился на затылок.

— Зулейха-ханум? Здравствуйте, я...

— Ой, заходи, заходи! Устала? Голодная? Конечно голодная, дорога — убийство! Заходи! Она подхватила мой чемодан — двадцать три килограмма! — и понесла так, будто это была дамская сумочка.

— Зулейха-ханум, я сама, он тяжёлый...

— Тяжёлый? Это тяжёлый? Я баранов на спине таскала, которые тяжелее! Не спорь. Заходи.

Я зашла. И пропала.

Двор был маленький, увитый виноградом так, что солнце сочилось сквозь листья зелёными пятнами. Каменный дом, деревянная веранда, а на веранде — стол.

Стол.

Я остановилась. Моргнула. Убедилась, что не галлюцинирую.

Хинкал — горой, дымящийся, с бараниной. Чуду — тонкие, поджаристые, с творогом и зеленью. Курзе — аккуратные, похожие на маленькие кошельки. Баранина с чесноком и травами. Лепёшки — с пылу, с жару. Чай в чайнике с длинным носиком. Мёд — тёмный, горный. Варенье из чего-то мелкого и тёмного — кизил? Тёрн?

— Это всё... мне?

— А кому? Садись. Ешь.

— Тут же на пятерых...

Зулейха окинула меня взглядом. Внимательным, цепким — но совсем не таким, какой бывал у Игоря. Игорь смотрел и считал: калории, сантиметры, степень несоответствия идеалу. Зулейха смотрела и видела что-то другое.

— Хорошая, — сказала она, кивнув. — Здоровая. Красивая. Кушай.

Красивая.

Вот так. Без оговорок. Без «могла бы быть красивой, если бы похудела». Без «лицо симпатичное, но фигура...». Просто — красивая.

У меня защипало в носу.

Я села и начала есть.

В другой жизни — в ростовской, в игоревской жизни — я бы взяла кусочек того, ломтик этого. Запила бы чаем без сахара. Весь вечер считала бы углеводы, белки и своё отражение в ложке.

Но Игоря больше не было. И его невидимый калькулятор, который я носила в голове, как проклятие, — его тоже больше не было. Или нет — был, но тише. Намного тише. Может, его заглушил горный воздух. Или баранина. Или Зулейхина улыбка.

Я ела. Хинкал — обжигающий, с наваристым бульоном. Чуду — сочные, с тянущимся творогом. Баранина — мягкая, рассыпающаяся, пропитанная соками и травами. Лепёшки — в которые можно было завернуть всё: мясо, сыр, зелень, счастье. Мёд — густой, тёмный, пахнущий горными цветами, которых я не знала по именам.

Зулейха сидела напротив, подперев щеку кулаком, и подкладывала. Молча. Каждый раз, когда моя тарелка пустела, на ней появлялся новый кусок — как по волшебству. Как у бабушки.

— Вкусно? — Спросила она наконец.

— Невероятно, — честно ответила я с набитым ртом. — Зулейха-ханум, это лучшая еда в моей жизни.

— Конечно лучшая. Я же все готовлю с любовью.

Скромность, подумала я, явно не входит в число местных добродетелей. И слава богу.

Чай был чёрный, крепкий, с чабрецом — обжигающий, душистый, такой, что после первого глотка по телу прошла тёплая волна и мышцы, которые я не знала, что напрягала, вдруг расслабились.

— Так, — Зулейха поставила свою чашку. — Теперь рассказывай. Кто обидел?

Я поперхнулась чаем.

— Что?

— Вижу. По глазам. Грустные глаза. Мужчина обидел.

— Зулейха-ханум, у вас рентгеновское зрение?

— У меня четыре сына. Их жёны. Внуки. Я знаю, когда женщина плачет внутри. Ты — плачешь. Давно. Говори.

Я хотела отшутиться. Я всегда отшучиваюсь — это мой щит, мой панцирь, моя черепашья броня. Ирония вместо слёз. Сарказм вместо крика. Улыбка вместо «мне больно, так больно, что я не могу дышать».

Но Зулейха смотрела на меня своими глазами-маслинами — тёмными, тёплыми, неотвратимыми, — и панцирь дал трещину.

— Он сказал, что ему за меня стыдно, — услышала я свой голос. — Что я... что за меня стыдно.

Я сделала этот жест — неопределённый, объемлющий. Руки обвели в воздухе контур: бёдра, живот, грудь, всё. Меня. Всю меня.

Зулейха перестала улыбаться.

Это было неожиданно — и почти пугающе. Как если бы солнце вдруг выключили. Её лицо стало серьёзным, жёстким, и я увидела под мягкостью и цветастым платьем что-то стальное. Хребет. Скалу. Ту самую породу, из которой сложены эти горы.

— Стыдно? — Переспросила она тихо. — За тебя — стыдно?

— Ну... я... — я сглотнула. — Я понимаю, что я не...

— Послушай меня, дочка. Слушай Зулейху. Мужчина, которому стыдно за свою женщину, — это не мужчина. Это мальчик. Маленький, глупый, голый мальчик, который ничего не понимает. Настоящая женщина — это тепло. Это сила. Это дом. А он хотел вешалку для одежды, — она фыркнула. — Забудь. Горы вылечат. Кушай.

У меня задрожали губы. Я прикусила нижнюю — сильно, до боли, — чтобы не расклеваться.

— Спасибо, Зулейха-ханум.

— Не за что. И перестань «ханум». Просто Зулейха. Или баба Зуля, как внуки говорят.

Я засмеялась. Мокро, сквозь ком в горле, но засмеялась.

Комната была маленькая, с высокой кроватью, горой подушек и ковром на стене — тёмно-красным, с геометрическим узором, от которого, если долго смотреть, начинало казаться, что он шевелится. Окно выходило на горы, и вечернее солнце затопило всё золотом — густым, тёплым, как тот мёд, которого я съела три ложки.

Или четыре. Не считала. Больше не считаю. Принципиально.

Я приняла душ — вода еле тёплая, напор как у астматика, но после двенадцати часов дороги это было почти религиозное переживание. Натянула пижаму — футболку с надписью «I need coffee and 12 hours of sleep», подарок Ленки, — и села на кровать.

Надо написать Ленке.

Я взяла телефон. Одна полоска связи. Интернет грузился так медленно, будто данные несли на ослике через перевал.

«Доехала. Живая. Хозяйка — бомба. Накормила до полусмерти. Горы — космос. Мужиков пока не видела, только деда в папахе, который называл меня худой. ХУДОЙ, Лен. Я. Худая. Переезжаю сюда навсегда».

Ленка ответила мгновенно — как у неё это получалось при любом часовом поясе и любой связи, было загадкой уровня Бермудского треугольника.

«ХУДАЯ. Вот видишь!!! Я же говорила!! Кавказ — это другая планета. Отдыхай, ешь, дыши. И не думай об этом дебиле. Он тебя не заслуживал. Ты — огромной величины бриллиант, детка. Просто требующий огранки».

Крупной огранки. Ленка — поэт.

Я улыбнулась, положила телефон и легла.

Живот тянуло.

Я прислушалась к себе — привычка, профессиональная деформация, шесть лет на скорой. Тупая, ноющая боль в нижней части живота, правая подвздошная область. Постоянная, без усиления при движении. Нет иррадиации. Нет тошноты. Стул, мочеиспускание — норма. Температура? Потрогала лоб — вроде нормально, хотя без градусника гадание на кофейной гуще точнее.

Киста?

Полтора года назад гинеколог нашла маленькую фолликулярную кисту. Сказала «наблюдаем». Перевожу с врачебного: «Приходите через три месяца на УЗИ». Я не пришла. Ни через три, ни через шесть, ни через двенадцать. Между ночными дежурствами, Игорем и пациентами, которые умирали у меня на руках в «буханке» скорой, — на собственное здоровье не оставалось ни сил, ни времени, ни желания.

Сапожник без сапог. Фельдшер без обследования. Классика жанра.

«Пройдёт, — подумала я, натягивая одеяло. — Дорога, стресс, перемена климата. Пройдёт».

Горы за окном темнели. Золото сменилось медью, медь — сиренью, сирень — чернотой.

Живот тянуло. Тихо, ровно, монотонно — как басовая нота, которую кто-то забыл выключить.

Я закрыла глаза. Далеко внизу, в посёлке заблела коза — обиженно, требовательно, как маленький ребёнок.

Пахло чабрецом и дымом.

«Завтра, — подумала я, проваливаясь в сон. — Завтра всё будет хорошо. Буду гулять, дышать, есть. Не думать про Игоря. Не считать калории. Не смотреть в зеркало с ненавистью. Просто — быть. Здесь. В горах. Где дед в маршрутке называл меня худой, а женщина с глазами-маслинами — красивой. Где воздух пахнет как еда, а еда пахнет как счастье. Где никому нет дела до моего пятидесят четвёртого размера, потому что здесь другие мерки — не в сантиметрах, а в чём-то, чего я пока не понимаю...»

Сон пришёл — мягкий, шерстяной, пахнувший горными травами.

Боль осталась.

Утро было золотое.

Я знаю, это звучит как дешёвый роман — «золотое утро в горах», — но оно было золотое. Буквально. Солнце вломилось в окно, как незваный гость, и залило комнату таким светом, что ковёр на стене вспыхнул, и казалось — он горит.

Я потянулась, открыла глаза... и остановилась.

Живот.

Боль не ушла. Наоборот — за ночь она выросла, расправила плечи, обжилась. Не тянущая. Не фоновая. Другая. Гуще. Тяжелее. Как будто кто-то внутри медленно закручивал гайку — оборот за оборотом, с методичной, неумолимой силой.

Я лежала на боку, подтянув колени к груди, и дышала, как учила своих пациентов: вдох на четыре, выдох на четыре. Боль слушала с вежливым интересом и не уходила.

«Так, Ковалёва, — сказала я себе тоном старшего врача, — давай по делу. Локализация — правая подвздошная, ниже пупка. Характер — постоянная, тупая, с усилением при перемене положения тела. Иррадиация — в поясницу. Это новое. Вчера не было. Нехорошо».

Я дотянулась до аптечки и нашла градусник. 37,4.

Субфебрильная температура.

Нехорошо.

Фельдшерский мозг — тот самый, который на вызовах работает как швейцарские часы, а в собственной жизни предпочитает спать, — вдруг включился на полную мощность и начал листать учебник, как бешеный ветер листает страницы.

Аппендицит? Нет. Нет миграции боли из эпигастрия. Нет мышечного напряжения. Нет симптома Щёткина. Хотя стоп — на себе-то не проверишь. Кишечник? Нет связи с едой, стул нормальный. Мочевыводящие? Нет дизурии. Значит — гинекология. Киста. Перекрут ножки? Разрыв? Тогда боль была бы острее. Пока — не острее. Пока.

Пока.

Это «пока» мне очень не нравилось.

Я заставила себя встать. Ноги держали, но неуверенно — как после третьего бокала вина, когда пол ещё ровный, но какой-то подозрительно мягкий. Умылась. Вода из-под крана пахла железом и холодом. Посмотрела на себя в крошечное зеркало над раковиной: рыжие кудри — дыбом, веснушки на бледном лице — как рассыпанная гречка, зелёные глаза — с тёмными кругами.

Красотка, Ковалёва. Просто мисс Вселенная.

Я вышла на веранду. Зулейха уже суетилась у стола — завтрак был накрыт с тем же размахом, что и вчерашний ужин. Каша, лепёшки, сыр, мёд, чай, варенье, яйца, зелень.

— Доброе утро, дочка! Садись! Кушай!

— Зулейха, я...

— Бледная. Почему бледная? Не спала?

— Спала. Просто... живот немного тянет. Ничего серьёзного. Наверное, с дороги.

Зулейха наклонила голову, посмотрела на меня — остро, пронзительно, и мне на секунду показалось, что она видит прямо сквозь мои рёбра, сквозь кожу и мышцы, видит ту самую кисту — маленькую бомбу замедленного действия, которую я полтора года старательно игнорировала.

— Кушай, — сказала Зулейха мягче. — Поешь — и полегчает. А если не полегчает — скажешь. У меня племянник на машине, до больницы довезёт.

— Не надо больницы. Пройдёт.

— Упрямая, — Зулейха вздохнула. — Ладно. Кушай.

Я села. Потянулась к лепёшке.

И посмотрела на горы.

Они стояли — в утреннем свете, омытые солнцем, как только что отчekanенные. Каждый хребет — чёткий, резкий, с тенями в складках, похожими на морщины мудрого лица. Снег на вершинах — ослепительный, нестерпимо белый на фоне синевы. А ниже — зелень, сочная, яркая, живая. И где-то ещё ниже — ущелье, полное тумана, который поднимался медленно, лениво, как дым.

Это было так красиво, что я забыла дышать. На секунду. На одну маленькую секунду я забыла и боль, и Игора, и кисту, и свой пятьдесят четвёртый размер, и всю свою жизнь, которая была до этого момента. Были только горы — огромные, вечные, безразличные к человеческой мелочности.

Мне бы такое безразличие.

Мне бы...

Удар пришёл без предупреждения.

Изнутри. Снизу. Раскалённой иглой — от правого бока к пупку и обратно. Такой, от которого темнеет в глазах и перехватывает горло, и единственное, что ты можешь, — это согнуться пополам и вцепиться в край стола так, что белеют костяшки.

Лепёшка выпала из рук.

— Дочка?! — Голос Зулейхи — далёкий, как из-под воды.

Я согнулась — лоб к коленям, руки на животе — и мир сузился до одной точки. До точки боли, которая пульсировала, росла, ширилась, заполняла всё пространство внутри меня.

«Киста, — мелькнуло в голове, — перекрут ножки или апоплексия, нужно в больницу, СЕЙЧАС, нужно...»

— Дочка! Дарина!

Ее руки — тёплые, крепкие — подхватили меня, не давая сползти со стула.

— Живот? Сильно болит?

— Больница, — выдавила я сквозь зубы. — Мне нужно. В больницу. Сейчас.

Горы стояли в окне — прекрасные, равнодушные, вечные.

Мне было всё равно. Мне было так больно, что весь мир — и горы, и солнце, и запах чабреца — схлопнулся в одну раскалённую точку внизу живота, и я подумала — чётко, ясно, фельдшерским своим мозгом, который работал даже сейчас:

«Отпуск, который я заслужила. Спасибо, вселенная. Ты как всегда на высоте».

## Глава 2. Когда тело предаёт

### Дарина

Магомед — или Мурад, или Махмуд, я так и не запомнила — приехал через четыре минуты. В пыльном «уазике» допотопного вида, с треснутым лобовым стеклом и запахом бензина, от которого тошнота из «фоновой» стала «активной». Хмурый мужик лет сорока, в спортивных штанах и кожаной куртке поверх майки, с лицом человека, которого разбудили после ночной смены и который был этим недоволен, но перечить тётке не собирался.

Зулейха загрузила меня на заднее сиденье — подложила подушку, укрыла пледом, как раненого бойца.

— Держись, дочка. Тридцать минут. Может, сорок, дорога плохая.

Тридцать минут.

Сорок.

По горному серпантину. Ночью. С болью, которая при каждой кочке прошивала меня насквозь, от живота до макушки, и обратно.

— Может, скорую? — Прохрипела я.

— Скорая из Хасара час будет ехать. Потом столько же обратно. Быстрее сами.

Логично. Чертовски, убийственно логично.

Машина рванула с места. Я вжалась в сиденье и закрыла глаза.

Тридцать километров горной дороги ночью — это отдельный вид пытки, который, я уверена, запрещён Женевской конвенцией. Или должен быть запрещён. Я напишу петицию. Если выживу.

«Уазик» трясло так, словно он ехал не по дороге, а по стиральной доске. Каждый ухаб, каждый камень, каждая выбоина отдавались внизу живота взрывом боли. Я лежала на боку, вцепившись в подушку, стиснув зубы так, что заболела челюсть, и считала повороты.

Один.

Другой.

Третий.

За окном — чернота. Не городская чернота, которая всегда разбавлена фонарями, витринами, экранами. Абсолютная, первобытная тьма, в которой фары «уазика» вырезали узкий коридор: серая лента дороги, бетонные столбики ограждения (через один — отсутствующие), и за ними — пропасть. Ничего. Пустота. Иногда далеко внизу мелькал огонёк — то ли дом, то ли звезда, отражённая в реке, то ли галлюцинация.

Магомед вёл молча, сосредоточенно. Зулейха сидела рядом с ним и время от времени оборачивалась — проверяла, жива ли я.

Жива. Относительно.

На двенадцатом повороте — я считала, мне нужно было за что-то цепляться, кроме подушки, — тошнота победила. Магомед, не говоря ни слова, притормозил. Зулейха открыла мне дверь. Я перегнулась через порог и выблевала ужин — весь этот прекрасный хинкал, чуду, баранину, лепёшки — на обочину горной дороги, под звёздами, которые смотрели на меня равнодушно и ярко.

— Ничего, дочка, — Зулейха держала мои волосы. — Ничего. Бывает.

Бывает. Мне двадцать шесть лет, я лежу в чужом «уазике» на горном серпантине, меня рвёт, а добрая женщина, которую я знаю меньше суток, держит мои рыжие кудри. Бывает. Конечно бывает.

Мама бы сейчас сказала: «Я же говорила — нечего было ехать на край света!» Игорь бы сказал... а впрочем, нет. Игорю было бы стыдно. Как обычно. Стыдно за девушку, которая блюёт у обочины, — это же так неэстетично, так не-инстаграмно.

Смешно? Мне — не очень. Но я всё равно усмехнулась, вытирая рот. Чёрный юмор — профессиональная привычка. На скорой без него не выжить.

Хасарская районная больница выплыла из темноты, как корабль-призрак, — серая, угловатая, с освещёнными окнами приёмного покоя. Три этажа, советская постройка, тополя-часовые у входа. На крыльце — лавочка. На лавочке — никого, рано, даже бабушки спят.

Я знала такие больницы. Я в таких больницах выросла — не буквально, а профессионально. Шесть лет на скорой — это сотни вызовов, десятки приёмных покоев, бесконечные коридоры с бледно-зелёными стенами и запахом хлорки, в котором тонет всё: страх, боль, надежда, смерть. Я знала эти больницы как свои пять пальцев. Скрипучий линолеум. Жужжащие лампы. Каталки у стен, похожие на спящих животных. Медсёстры с усталыми глазами и чаем в гранёных стаканах.

Но одно дело — привозить пациента и сдавать дежурному врачу с коротким «острый живот, давление сто на семьдесят, пульс девяносто два, анальгетики не вводили».

Другое дело — быть этим пациентом.

Магомед подрулил прямо к крыльцу. Зулейха выскочила первой, распахнула мне дверь, подхватила под руку. Я выползла из машины — медленно, осторожно, как старуха с артрозом, придерживая живот руками. Каждый шаг отдавался внутри тупым ударом.

Ступеньки. Четыре. Как Эверест.

Дверь приёмного покоя открылась — и меня накрыло: хлорка, тёплый застоявшийся воздух, гудение ламп дневного света, бормотание телевизора из ординаторской. Дом. Не мой дом — но дом моей профессии. Знакомый запах. Знакомый свет. Знакомый скрип линолеума под ногами.

За стойкой регистрации сидела медсестра — единственная женщина в радиусе видимости. Лет пятидесяти, в белом халате с пожелтевшим воротником, очки на кончике носа, журнал регистрации перед ней — толстый, потрёпанный. Она подняла глаза — без удивления, без тревоги, с выражением человека, которого давно невозможно удивить.

— Что случилось?

— Живот, — Зулейха ответила раньше, чем я открыла рот. — Сильно болит. Со вчера.

— Фамилия? Имя?

— Ковалёва. Дарина Сергеевна, — я выпрямилась, стараясь говорить ровно, по-деловому. Коллега коллеге. — Двадцать шесть лет. Жалобы на острую боль в правой подвздошной области с иррадиацией в поясницу и правое бедро. Тошнота, однократная рвота. В анамнезе — фолликулярная киста правого яичника, диагностирована полтора года назад.

Медсестра перестала писать. Подняла глаза. Посмотрела на меня поверх очков.

— Медик?

— Фельдшер скорой.

— А, — она кивнула, как будто это всё объясняло. — Полис?

— С собой. И паспорт.

— Давайте.

Я порылась в сумке — Зулейха успела схватить её, когда мы выезжали, — и протянула документы. Руки тряслись. Не от страха — от боли, которая пульсировала с методичностью метронома.

— Сейчас позову дежурного, — медсестра сняла трубку внутреннего телефона. — Рустам Ахмедович? Да. Острый живот. Женщина, двадцать шесть лет. Да. Приёмный. Хорошо.

Она положила трубку.

— Ждите. Сейчас придёт.

И вот тут я его увидела.

Нет — я увидела ИХ.

Из ординаторской вышел мужчина — высокий, широкоплечий, лет тридцати пяти, в мятом зелёном хирургическом костюме. Тёмная густая борода. Усталые чёрные глаза. На бейджике — «Ахмедов Р. А., хирург». Следом — ещё один, помоложе, тоже в зелёном, тоже с бородой, но пожиже: «Исаев М. К., хирург». Из соседнего кабинета выглянул третий — медбрат, без бороды, но с усами, которые компенсировали отсутствие бороды с лихвой.

Мужчины.

Все — мужчины.

Я стояла в приёмном покое районной горной больницы в три часа ночи, в пижамных штанах с котиками и футболке, мокрой от пота, с растрёпанными волосами и лицом, которое, судя по отражению в стеклянной двери, было цвета несвежей сметаны, — и вокруг меня были только мужчины.

Врачи — мужчины. Медбрат — мужчина. Санитар, который вышел из-за угла с ведром и шваброй, — мужчина. Пациент на каталке в коридоре — мужчина.

Единственная женщина — медсестра за стойкой — уткнулась в журнал и явно не собиралась участвовать в моей судьбе дальше, чем это требовалось должностной инструкцией.

Районная больница. Горный район. Кадровый голод. Мужчины идут в медицину, женщины... ну, видимо, занимаются чем-то другим. Я понимала. Рационально, логически, профессионально — понимала.

Но рациональная часть моего мозга сейчас занимала примерно десять процентов полезной площади. Остальные девяносто были заняты паникой.

— Ковалёва? — Хирург Ахмедов подошёл, протянул руку — крепкая, сухая, тёплая. — Что беспокоит?

Я повторила свой анамнез. Как автомат. Слова — правильные, медицинские, знакомые — вылетали из меня, как пули из обоймы, и я пряталась за ними, как за щитом.

Он слушал. Кивал. Задавал вопросы — правильные, грамотные, те самые, которые я задала бы на его месте. Последние месячные? Регулярные, цикл двадцать восемь дней, последнее — три недели назад. Половая жизнь? Я чуть не поперхнулась. Два месяца как нет, спасибо Игорю. Беременность исключена.

— Лягте на кушетку, — сказал Ахмедов. — Мне нужно пропальпировать живот.

Кушетка. Лечь. Задрать футболку. Обнажить живот — большой, мягкий, с растяжками, — перед двумя хирургами и медбратом, который стоял рядом с подчёркнутой готовностью помочь.

Я легла.

Задрала футболку.

Лежала и смотрела в потолок — в жёлтое пятно от протечки, похожее на карту несуществующего острова, — и думала о том, что потолки в больницах — это единственное, на что пациенту остаётся смотреть, когда всё остальное невыносимо.

Руки Ахмедова были профессиональные — я отдам ему должное. Тёплые, уверенные, точные. Он пальпировал методично: эпигастрий, мезогастрій, левая подвздошная, правая...

Я вскрикнула.

— Здесь?

— Да, — сквозь зубы.

— Симптом Щёткина — Блюмберга... — он нажал и резко отпустил. Я зашипела, как кошка. — Слабоположительный. Не аппендицит, скорее всего. Но нужно исключить.

— Это гинекология, — сказала я. — У меня киста. Была. Полтора года назад.

Он посмотрел на меня. Потом на коллегу. Потом снова на меня.

— Вам нужен гинеколог.

— Я знаю.

— Рашид Магомедович сегодня дежурит. Но он на третьем этаже. Гинекологическое отделение наверху.

— Хорошо, — я села, одёрнула футболку, стараясь не думать о том, что он только что видел. Мой живот. Мои бока. Мои растяжки. Профессионально, да — конечно, профессионально. Для него я — живот, комплекс симптомов, предварительный диагноз. Не женщина. Не тело, за которое кому-то стыдно. Просто пациент.

Но скажите это моему внутреннему Игорю. Тому, который поселился в голове и комментировал каждый квадратный сантиметр моей кожи. «Посмотри на себя. Ты лежишь перед чужим мужчиной с голым животом. С ТАКИМ животом. Ему, наверное, неприятно. Ему, наверное, стыд...»

Заткнись.

Заткнись, заткнись, заткнись.

— Вам помочь подняться? — спросил Ахмедов. — Можем на каталке.

— Нет. Сама. Спасибо.

Я встала. Зулейха — она всё это время стояла у стены, молчаливая и бдительная, как сторожевой пёс, — шагнула ко мне.

— Я с тобой.

— Зулейха, не надо, правда...

— Не спорь, — она взяла меня под руку, и я поняла, что спорить бессмысленно. С таким же успехом можно спорить с горой.

Мы пошли по коридору. Линолеум скрипел. Лампы жужжали. На стенах — плакаты: «Мойте руки!», «Профилактика туберкулёза», «Расписание приёма». Всё — как в любой районной больнице от Калининграда до Владивостока. Тот же цвет стен — бледно-зелёный, цвет тоски и казённого уюта. Тот же запах — хлорка, лекарства, человеческое отчаяние.

Мимо прошёл санитар — мужчина. Из палаты вышел пациент в халате — мужчина. Из ординаторской донёсся смех — мужской. Из-за двери с надписью «Процедурная» показался медбрат с подносом — мужчина.

Мужчины, мужчины, мужчины.

Нет, я не против мужчин. Боже упаси. Шесть лет на скорой, мой напарник — мужчина, мой врач — мужчина, половина моих пациентов — мужчины. Я раздевала, перевязывала, катетеризировала мужчин, не моргнув глазом. Это работа. Тело — это тело. Анатомия. Физиология. Ничего личного.

Но сейчас...

Сейчас мне нужно было идти к гинекологу. К мужчине-гинекологу. Который будет смотреть меня ТАМ. Который увидит всё — и живот, и бёдра, и всё остальное, за что Игорю было стыдно. И который, возможно, подумает... нет, он не подумает. Он врач. Он видел тысячи женщин. Ему всё равно.

Но мне — не всё равно.

Мне двадцать шесть лет, и я ни разу в жизни не была у гинеколога-мужчины. Принципно. Осознанно. Потому что одно дело — показать свой живот хирургу, и совсем другое — раздвинуть ноги в кресле перед мужчиной, который будет сидеть между ними и смотреть, и трогать, и видеть всё, ВСЁ — и складки на внутренней стороне бёдер, и растяжки, и целлюлит, и...

Хватит, Ковалёва.

Хватит.

Ты фельдшер. Ты профессионал. Тело — это тело. Орган — это орган. Врач — это врач. Но голос Игоря в голове не затыкался: «Ты представляешь, как ты будешь выглядеть? В этом кресле? С этими ногами? Ему же...»

Заткнись.

Пожалуйста.

— Дочка, — Зулейха тронула меня за локоть. Я поняла, что стою посреди коридора и не двигаюсь. — Идём. Ты сильная. Я знаю.

— Я не сильная, — прошептала я. — Я трусиха, Зулейха. Я боюсь.

— Конечно боишься. Все боятся. Но идут. Храбрая — не та, кто не боится. Храбрая — та, кто боится и идёт.

Банально. Избито. Надпись на открытке.

Но когда Зулейха это сказала — тихо, твёрдо, стоя рядом со мной в три часа ночи, в горной больнице, — это не было банальностью. Это было — опорой. Единственной опорой, которая у меня оставалась.

Мы дошли до конца коридора.

Лифт.

Старый грузовой лифт — с решётчатой дверью, серой кабиной и табло, на котором цифры этажей еле тлели жёлтым. Такие лифты я видела в десятках больниц: рабочие лошади, на которых возят каталки, оборудование и пациентов, которым не подняться по лестнице. Они всегда гудят, всегда скрипят, всегда пахнут машинным маслом и чьей-то бедой.

Я нажала кнопку вызова.

Где-то в шахте загудело — утробно, как голодный зверь.

— Зулейха, — сказала я, не оборачиваясь. — Иди домой. Пожалуйста. Я справлюсь. Тебе утром вставать, у тебя хозяйство...

— Я буду здесь, — Зулейха скрестила руки на груди. — Внизу. Ждать. И не спорь.

Лифт приехал. Двери раздвинулись — с лязгом, как зубы механического чудовища.

Кабина была пустой. Серые стены в царапинах. Лампа на потолке — одна из двух работала, вторая мигала, создавая эффект дешёвого триллера. В углу — каталка. Пустая, с примятой простынёй.

— Третий этаж, — буркнула медсестра, появившаяся из-за угла, как привидение. — Из лифта направо, до конца коридора, кабинет одиннадцать. Рашид Магомедович предупреждён, ждёт.

Ждёт.

Рашид Магомедович — мужчина, врач, гинеколог — ждёт.

А я стою перед лифтом в пижамных штанах с котиками, с мокрой от пота спиной и болью, которая грызёт меня изнутри, как крыса — верёвку, и не могу заставить себя войти.

— Дочка, — Зулейха мягко подтолкнула меня. — Иди.

Я вошла.

Двери закрылись.

И я осталась одна — в тесной железной коробке, между этажами, между болью и страхом, между тем, кем я была, и тем, кем мне предстояло стать.

Я нажала кнопку «3».

Лифт дёрнулся — и поехал вверх.

## Глава 3. Между этажами

### Дарина

Лифт пах машинным маслом и одиночеством.

Странная мысль для человека, у которого внизу живота разворачивался ад, но я ничего не могла с собой поделать — мозг цеплялся за детали, как утопающий за соломинку. Царапины на стенах — кто-то завозил сюда каталку и не рассчитал угол. Пятно на полу — йод или бетадин, старое, вьевшееся. Лампа — одна горит ровно, вторая мигает, и тени от решётчатой двери ползают по стенам, как пальцы.

Кнопки. Три штуки: 1, 2, 3. Простая арифметика. Три этажа, три кнопки, одна жизнь в пижамных штанах с котиками.

Я нажала «3», и лифт дёрнулся — всем телом, всей своей старой железной тушей, как пёс, которого разбудили пинком. Загудел. Заскрежетал. Пол под ногами завибрировал, и вибрация пошла вверх — через ступни, через колени, через бёдра — и добралась до того места, которое и без того пульсировало болью.

Я схватилась за поручень. Холодный, ржавый, он был единственной надёжной вещью в этой коробке — и во всей моей жизни на данный момент.

Лифт полз вверх. Медленно. Мучительно медленно. Как будто тащил не меня — шестьдесят... ладно, семьдесят пять килограммов, — а целый мир. Гудение заполняло кабину, отражалось от стен, забиралось в уши и там обживалось.

Первый этаж. Цифра «1» на табло мигнула и погасла.

Я стояла, прижавшись спиной к стене, и дышала. Вдох — два-три-четыре. Выдох — два-три-четыре. Этой технике меня научила фельдшер Татьяна Ивановна на самом первом дежурстве, когда я, зелёная выпускница медколледжа, чуть не грохнулась в обморок на вызове к пациенту с открытым переломом. «Дыши, Ковалёва. Ты не имеешь права падать. Ты — та, кто поднимает других. Тебе так нельзя».

Я — та, кто поднимает.

А сейчас — сама еле стою.

Ирония. Жизнь вообще большая любительница иронии. Это я давно заметила. Шесть лет на скорой — и ни разу не была пациентом. Ни одного больничного, ни одной травмы, ни одного серьёзного заболевания. Я была по ту сторону — в белом халате, с фонендоскопом, с чемоданчиком, набитым ампулами и шприцами. Я приезжала, когда людям было плохо. Я делала так, чтобы им стало лучше. Или, по крайней мере, не хуже. Или, по крайней мере, чтобы они дожили до больницы.

А сейчас — я сама не знала, доживу ли до третьего этажа.

Второй этаж. Цифра «2» вспыхнула — тускло, жёлто, как глаз больного кота.

Боль нарастала. Не рывком — плавно, неумолимо, как прилив. Волна за волной, каждая следующая чуть выше предыдущей. Низ живота горел и пульсировал, и к этому пульсу добавился новый ритм — стучащий, давящий, как будто кто-то изнутри бил кулаком в стенку.

Я согнулась. Не сама — тело решило за меня, свернулось вокруг источника боли, как улитка вокруг раковины. Поручень впился в ладонь. Пальцы побелели.

«Ещё один этаж, — думала я. — Один. Несколько метров. Двери откроются, я выйду, поверну направо, дойду до кабинета одиннадцать, и там будет Рашид Магомедович, и он посмотрит, и скажет, что делать, и всё будет...»

Лифт остановился.

Нет — не остановился. Он замер. Как будто задумался. Гудение изменило тональность — стало ниже, гуще, как басовая нота органа. Свет мигнул. Погас. Вспыхнул снова — но другой.

Не жёлтый, больничный, а какой-то... белый? Синеватый? Как будто лампа на потолке забыла, что она лампа, и решила стать звездой.

Табло.

Я подняла глаза — через пелену боли, через слёзы, которые текли сами по себе, — и посмотрела на табло.

Цифра «3» горела ровно.

А потом — мигнула.

И сменилась.

Я моргнула. Протёрла глаза. Посмотрела снова.

На табло горела цифра «7».

Семь.

В трёхэтажной больнице.

«Глюки, — подумала я. — Боль, стресс, тошнота, три часа ночи, конечно глюки. Дисплей барахлит. Контакт отошёл. Нормальное дело, лифт старый, советский, удивительно, что он вообще ездит, а не стоит как памятник...»

Табло мигнуло.

12.

Двенадцать.

Лифт не двигался. Я не чувствовала движения — ни вверх, ни вниз. Он стоял. Но цифры менялись. Менялись с мягкими щелчками — тихими, ритмичными, как удары метронома. Или сердца.

Или часов, отсчитывающих что-то, что я пока не понимала.

И тогда — боль.

Не та, которая была раньше. Не тянущая, не ноющая, не нарастающая. Эта пришла — вся, сразу, целиком. Как взрыв. Как обвал. Как лавина, которая сметает всё на своём пути — деревья, дома, людей, мысли.

Я закричала.

Или мне казалось, что закричала. Звук вышел — тонкий, сдавленный, совсем не похожий на крик. Больше похожий на скулёж. Собачий. Жалкий.

Ноги подкосились.

Я сползла по стене — медленно, цепляясь за поручень, оставляя на металле мокрые следы от ладоней, — и оказалась на полу. Холодный. Грязный. Пахнущий машинным маслом и бедой. Я лежала на боку, подтянув колени к груди — поза эмбриона, та самая, в которую тело сворачивается инстинктивно, когда больше нечего делать, — и смотрела на табло.

Цифры мелькали и бежали дальше.

13... 14... 15...

Свет мигал — неровно, лихорадочно, как пульс тахикардийного больного. Вспышка — темнота — вспышка — темнота. В этом стробоскопическом мелькании кабина лифта выглядела совсем иначе: стены то сжимались, то расширялись, царапины на металле складывались в узоры, каталка в углу была похожа на скелет неизвестного животного.

16...

Мне стало холодно. Не от пола — изнутри. Как будто кто-то открыл дверь внутри меня, и оттуда дунуло — ледяным, потусторонним сквозняком, от которого волосы на руках встали дыбом.

17...

Гудение. Нет — не гудение. Звон. Тонкий, высокий, на грани слышимости. Как будто кто-то провёл мокрым пальцем по ободку хрустального бокала. Или как будто весь воздух в кабине завибрировал — каждая молекула, каждый атом — на частоте, которую уши едва улавливали, но тело чувствовало. Всем собой. До последней клетки.

Боль пульсировала — но уже не так, как раньше. Раньше это было физическое, понятное, медицинское: воспалённая ткань, перерастянутая капсула, раздражённая брюшина. Теперь — другое. Боль стала странной. Тягучей. Она тянула меня — не в сторону живота, а куда-то вглубь. Вниз. Или внутрь. Как будто моё тело было воронкой, и боль — водой, которая закручивалась в спираль и утекала в точку, которой не было ни в одном анатомическом атласе.

18.

Цифра вспыхнула — ярко, как вспышка фотоаппарата, — и замерла.

18.

И свет погас.

Весь. Сразу. Без предупреждения. Как будто кто-то выдернул вилку из розетки — не только лифта, но всей больницы, всего города, всего мира.

Темнота.

Абсолютная, непроницаемая, плотная, как вата. Не та темнота, которая бывает, когда закрываешь глаза, — там всегда остаётся что-то: отсветы, мушки, фосфены на сетчатке. Эта была другой. Она была живой. Она имела вес, и плотность, и температуру — холодную, нет, нет — тёплую. Сначала холодную, потом тёплую. Она менялась. Она дышала.

Темнота дышала.

Я тоже дышала. Кажется. Вдох — но я не слышала вдоха. Выдох — но я не чувствовала выдоха. Как будто дыхание происходило где-то отдельно от меня, в каком-то другом месте, с каким-то другим телом.

Тело.

Где моё тело?

Я попыталась пошевелить пальцами — и не поняла, получилось или нет. Попыталась коснуться пола — но пола не было. Или был, но не тот. Или я была не я. Или...

Страх пришёл — волной, огромной, как цунами, — и накрыл с головой.

Не тот страх, который я испытывала перед кабинетом гинеколога. Не тот, с которым жила последний месяц после Игоря. Не тот привычный, фоновый страх толстой девочки — «не то съела, не то надела, не так выгляжу, не так сижу, не так дышу». Этот был первобытный. Пещерный. Из тех, что живут в рептильном мозге, в самом древнем слое, который помнит саблезубых тигров и бездонные пропасти.

Я исчезала.

Я это чувствовала — физически, кожей, костями, каждой клеткой. Как будто меня размывало. Как фотографию, упавшую в воду. Контуры плывут, цвета тают, и вот уже не лицо, а пятно, не тело, а облако, не человек, а...

«Нет, — подумала я. — Нет. Я здесь. Я — Дарина Ковалёва. Мне двадцать шесть лет. Я фельдшер. У меня рыжие волосы, зелёные глаза и пятьдесят четвёртый размер одежды. Моя мама живёт в Ростове. Мою подругу зовут Ленка. Мой бывший — мудака. Я лежу в лифте районной больницы, и мне нужна помощь. Я — здесь. Я — есть. Я — я».

Я цеплялась за факты, как за поручень. За свои дурацкие, обыденные, нелепые факты — якоря в реальности, которая расплзалась под руками.

«Я родилась четвёртого марта. Я люблю торт „Прага“. Я не умею готовить рассольник, хотя бабушка учила. Я боюсь пауков и высоты. Я ни разу не была за границей. Я не умею свистеть. У меня...»

Темнота сжалась.

Не вокруг — внутри. Как будто схлопнулась в точку — крошечную, бесконечно плотную, — и эта точка оказалась где-то в центре моей груди. Или головы. Или живота. Или везде одновременно.

И в этой точке — вспышка.

Не свет — нет. Что-то другое. Ощущение, для которого не было слова. Как будто вселенная вдохнула — и выдохнула меня.

Звук был первым.

Не гудение лифта. Не жужжание ламп. Не скрип линолеума.

Потрескивание.

Тихое, ровное, уютное — как костёр. Или как дрова в печке. Или как очаг, в котором тлеют угли, и маленький язычок пламени то вспыхивает, то прячется, играя в прятки с темнотой.

Потом — запах.

Дым. Настоящий, древесный — не от сигареты, не от мангала. От живого огня, горящего в каменном очаге. И вместе с дымом — травы. Что-то горьковатое, пряное, непривычное. Полынь? Чабрец? Что-то, чему я не знала названия, но что пахло — старым. Не в смысле «испортившимся». В смысле — древним. Как если бы этот запах существовал веками, впитался в стены, в камень, в воздух, и стал частью места.

И ещё — шерсть. Овечья, тёплая, с тем особенным запахом, который ни с чем не спутаешь: чуть-чуть животный, чуть-чуть травяной, чуть-чуть — дождь. Так пахло бабушкино одеяло. Так пахнет всё, что связано с теплом и безопасностью.

Я лежала на чём-то мягком. Не на полу лифта — я это поняла сразу, ещё до того, как открыла глаза. Пол лифта был железным, холодным и жёстким. Это — было другим. Мягким, тёплым и тяжёлым. Как будто меня укрыли и уложили на что-то, набитое шерстью или сеном.

И — главное.

Боли не было.

Я замерла.

Прислушалась к себе — так, как делала это тысячу раз: по привычке, по профессии, по введшемуся в подкорку рефлексу «проверь пациента, а потом проверь себя». Живот? Тишина. Абсолютная, невозможная тишина — там, где час назад бушевал пожар. Поясница? Нормально. Тошнота? Нет. Температура? Я прижала тыльную сторону ладони ко лбу. Нормальная. Не горячая, не холодная. Нормальная.

Ничего не болело.

Совсем.

Впервые за двое суток моё тело молчало. Не стонало, не ныло, не грызло само себя изнутри. Молчало — оглушающе, подозрительно, пугающе.

Я — фельдшер. Я знаю, что боль не исчезает просто так. Киста не рассасывается за минуту. Перекрут не раскручивается сам. Воспаление не затихает по щелчку. Если боль ушла резко, полностью — это либо обезболивающее (я ничего не принимала), либо некроз ткани (когда нервные окончания отмирают и перестают передавать сигнал, а это значит, что стало не лучше, а намного, намного хуже).

Или — третий вариант. Тот, которого нет в учебниках.

Я открыла глаза.

Потолок.

Каменный. Низкий. Грубо обтёсанный — не рубанком и не машиной, а чем-то другим, чем-то ручным. Видны следы инструмента — неровные бороздки, как на старой разделочной доске. Между камнями — тёмные деревянные балки, потемневшие от времени и дыма. С одной балки свисал пучок сухих трав, перевязанный бечёвкой. С другой — ещё один. И ещё.

Не потолок больницы.

Не потолок гостевого дома Зулейхи.

Не потолок моей ростовской квартиры.

Не потолок вообще чего-либо, что я видела в своей жизни — за исключением, может быть, музея или исторической реконструкции.

Я медленно повернула голову.

Комната. Маленькая — метра четыре на четыре, не больше. Каменные стены — грубая кладка, без штукатурки, без обоев, без краски. Просто камень. Серый, с прожилками, местами покрытый чем-то вроде копоти. Окна — нет. Не окна. Узкие щели в стене, через которые падал свет — яркий, золотой, настоящий солнечный свет, густой, как мёд, со взвесью пылинок, танцующих в лучах.

Бойницы. Это были бойницы.

Я лежала на низкой деревянной кровати — больше похожей на широкую лавку, застеленную чем-то мягким. Матрас? Тюфяк? Набитый, кажется, шерстью или чем-то похожим — под спиной бугрилось, но не жёстко, а уютно. Сверху — тяжёлое покрывало: шерстяное, с узором. Красные, синие, чёрные нити, геометрический рисунок — ромбы, зигзаги, кресты. Похоже на ковёр. Нет — это и был ковёр. Меня укрыли ковром.

В углу — очаг. Настоящий, каменный, с тлеющими углями, над которыми висел железный котелок. Из котелка шёл пар — и именно из него тянулся тот запах, травяной, горьковатый, от которого покалывало в носу.

И — старуха.

Она сидела у очага на низком деревянном табурете. Маленькая. Высохшая — как те пучки трав на потолке. Вся в чёрном: платок, платье до пола, даже руки — тёмные, узловатые, как корни старого дерева. Лицо — сплошные морщины. Нет, не так. Лицо, состоящее ИЗ морщин. Каждая — как русло высохшей реки, как тропинка в горах, как трещина в древней стене. И глаза — единственное, что было живым на этом лице: тёмные, яркие, острые, как угольки.

Она помешивала что-то в котелке деревянной ложкой и бормотала — тихо, ритмично, как молитву или заговор.

— Где я?

Мой голос прозвучал хрипло. Чужо. Как будто связки забыли, как работать, и пришлось вспоминать на ходу.

Старуха повернулась.

Посмотрела на меня — и в её глазах-угольках что-то вспыхнуло. Удивление? Облегчение? Тревога? Всё вместе — одновременно, в одну секунду.

— Очнулась, — сказала она. — Три дня горела. Думала — помрёшь. Крепкая оказалась. Слава Всевышнему.

Три дня?

Язык. Она говорила по-русски — но каком-то другом русском. Слова — знакомые, но произношение чуть сдвинутое, как будто русский прошёл через другой язык и вернулся с акцентом. Не кавказским акцентом — я слышала кавказский акцент, это было не то. Это было... старше. Как будто сам язык был старше. Архаичнее. «Горела» вместо «температурила». «Крепкая оказалась» — интонация, построение фразы — всё чуть-чуть не так.

— Где больница? — Я попыталась сесть. — Где лифт? Как я сюда попала? Где Зулейха?

Старуха наклонила голову — жест, который напомнил мне птицу. Ворону, если точнее. Старую мудрую ворону, которая видела слишком много и удивлялась слишком редко.

— Какой лифт? Какая Зулейха? — она нахмурилась. — Тебя привезли больной. Отец твой отдал за долг. Я три дня отпаивала, думала — не выходишь. А ты вот — живая.

Отец? Долг? Что?

Я села — рывком, и голова закружилась, но боли по-прежнему не было, и это пугало меня больше всего. Посмотрела на себя — и замерла.

Одежда.

На мне была длинная рубаша из грубого полотна — не хлопка, не синтетики, а чего-то... настоящего. Ткань была неровной, с утолщениями нити, с запахом, который бывает у ткани,

сотканной вручную. У ворота — вышивка: красные и золотые нити, узор из ромбов и завитков. Рукава — широкие, до запястий.

Моей пижамы не было. Ни футболки с надписью «I need coffee», ни штанов с котиками. Ничего. Только эта рубаша и ковёр.

Я ощупала себя. Быстро, лихорадочно, по-фельдшерски. Руки — мои. Веснушки на тыльной стороне ладони — мои, те же самые, те же рыжие пятнышки, которые я знала с детства. Запястья — мои, широкие, с родинкой на левом. Ногти — мои, коротко стриженные, без маникюра. Дальше — шея. Ключицы. Грудь. Моя, большая, привычная. Живот — мягкий, большой, тёплый, БЕЗ БОЛИ. Бёдра — мои, широкие, полные. Ноги — мои.

Моё тело. Мои семьдесят пять килограммов. Мои веснушки, мои кудри — я потянула прядь к глазам: рыжая, пружинистая, моя.

Но одежда — чужая.

И комната — чужая.

И старуха — чужая.

И всё — чужое.

Я встала. Ноги держали — крепко, уверенно, как будто никогда и не подкашивались. Босые ступни на каменном полу — холодно, шершаво. Два шага до стены. Ещё один — до бойницы.

Я прижалась лицом к камню — он пах пылью и временем — и посмотрела наружу.

Горы.

Те же горы. Или — не те же? Те же синие хребты, те же снежные вершины, то же невозможно яркое небо. Но — другие. Я не могла объяснить чем. Ракурс? Расстояние? Или что-то неуловимое — качество света, цвет воздуха, ощущение?

Внизу — двор. Каменный, замкнутый высокими стенами. Не двор гостевого дома, не двор больницы. Крепостной двор. Стены — толстые, с бойницами. Башня — сторожевая, квадратная, на вершине — фигурка человека с чем-то длинным в руках. Копьё? Пика?

У стены — коновязь. Лошади — три, гнедые и одна вороная, переступали с ноги на ногу, тряся гривами. Настоящие лошади, живые, тёплые, пахнущие — я не чувствовала запаха отсюда, но знала, как пахнут лошади.

Люди. Мужчины — двое у конюшни, один у колодца. Одежда: длинные рубахи, подпоясанные ремнями, высокие сапоги, на поясах — кинжалы. Кинжалы. В ножнах, с рукоятями, обмотанными кожей. Мальчишка — лет десяти — тащил охапку сена, спотыкаясь и чертыхаясь на языке, которого я не знала.

Ни проводов.

Ни столбов.

Ни антенн.

Ни машин, ни мотоциклов, ни велосипедов.

Ни асфальта. Ни бетона. Ни пластика.

Ничего — ни единого следа — из моего мира.

На стене комнаты — напротив кровати — висела сабля. Настоящая, в потёртых кожаных ножнах, с потемневшей рукоятью. Рядом — круглый щит, обтянутый кожей, с железным выпуклым центром.

Холод пробежал по позвоночнику — снизу вверх, от копчика до затылка. Быстрый, ледяной, не имеющий ничего общего с температурой воздуха.

Я обернулась к старухе.

— Какой сейчас год?

Она посмотрела на меня. Наклонила голову — снова этот вороний жест.

— Год?

— Да. Год. Какой сейчас год?

Она назвала число. Не по-русски — на другом языке, незнакомом, гортанном. Потом, видимо, заметив моё лицо, добавила:

— По-русски — тысяча семьсот восемьдесят третий. Или четвёртый. Мы здесь по-другому считаем.

Тысяча семьсот восемьдесят третий.

1783.

Лифт.

Цифры на табло: 1... 2... 3... 7... 12... 18...

Восемнадцатый.

Восемнадцатый век.

Я стояла босиком на каменном полу, в чужой рубахе, в комнате с очагом и саблей на стене, и мир — мой мир, нормальный, реальный, понятный мир со скорыми помощами и пижамными штанами — этот мир был где-то далеко. За двумя с половиной столетиями. За дверью, которая захлопнулась в старом больничном лифте, между вторым и третьим этажом.

Мне стало смешно.

Нет — мне стало истерически, безумно, отчаянно смешно. Такой смех бывает на скорой, когда за одну ночь — три трупа, а потом приезжаешь на вызов «плохо с сердцем», а у бабушки просто кот упал с подоконника, и она решила, что это инфаркт. И ты стоишь в дверях и смеёшься — не потому, что смешно, а потому что если не смеяться, то останется только кричать.

— Ложись, — строго сказала старуха. Она, кажется, не заметила моего беззвучного смеха. Или приняла за судорогу. — Рано вставать. Слабая ещё.

— Я не слабая, — возразила я автоматически. — Я... я не понимаю, где я. Что происходит. Как я сюда попала. Я была в больнице. В лифте. Мне было плохо. А потом — темнота. И вот я здесь. И год — тысяча... — я не смогла произнести это вслух. Как будто, произнеся, я сделаю это реальным.

Старуха отложила ложку. Встала — медленно, разгибаясь по частям, как складной нож. Подошла ко мне. Маленькая — макушкой едва доставала мне до плеча. Взяла за руку — пальцы были сухие, горячие, сильные.

— Ты горела три дня, — сказала она терпеливо, как ребёнку. — Бредила. Звала каких-то людей. Зулейху. Ленку. Игоря — плевалась при этом, — старуха усмехнулась. — Я поила тебя отварами. Думала — не встанешь. А ты встала. Значит — крепкая. Значит — нужная. Аллах знает, что делает.

Я молчала. Потому что мне нечего было сказать. Потому что всё, что я могла сказать, звучало как бред: «Я из будущего. Я из двадцать первого века. Я фельдшер скорой помощи. У меня есть телефон — был телефон. Я ехала к гинекологу. На третий этаж. В лифте. Застряла. Потеряла сознание. И очнулась здесь, в вашем восемнадцатом веке, где на стенах сабли, а во дворе лошади».

Бред.

Абсолютный клинический бред.

Либо я сошла с ума. Киста привела к осложнению, осложнение — к лихорадке, лихорадка — к делирию. И всё это — галлюцинация. Развёрнутая, детальная, с запахами и текстурами, но — галлюцинация. Я на самом деле лежу в реанимации хасарской больницы, и Зулейха сидит в коридоре, и Ленка звонит на недоступный номер, и мама...

Либо я умерла. И это — что? Рай? Ад? Чистилище? Чистилище с саблями и козым сыром?

Либо...

Третий вариант. Тот, которого нет в учебниках. Тот, для которого не существует дифференциального диагноза.

Я посмотрела на свои руки. На веснушки. На родинку. На короткие ногти.

Мои руки. Моё тело. Моя я.

Но — не моё время.

Старуха подвела меня к кровати. Усадила. Сунула в руки глиняную чашку — тёплую, с отваром, от которого пахло горечью и мятой.

— Пей. Сила нужна. Завтра тяжёлый день.

— Почему тяжёлый? — Голос был тонкий, чужой. Не мой.

Старуха помолчала. В её тёмных глазах мелькнуло что-то — жалость? Тревога? Сочувствие?

— Готовься, девочка, — сказала она тихо. — Завтра тебя увидит князь. Тот, за кого тебя отдали.

Горы стояли в бойницах — золотые, древние, равнодушные.

Я сидела на чужой кровати, в чужой рубашке, с чашкой какого-то отвара, в чужом веке — и чувствовала, как последние осколки реальности, за которые я цеплялась, беззвучно осыпаются.

Вот так и умирают, подумала я. В лифте районной больницы, в штанах с котиками.

И вот так — рождаются заново.

## Глава 4. Не в Канзасе

**Дарина**

Я не спала.

Лежала с закрытыми глазами, слушала потрескивание углей в очаге и пыталась проснуться. По-настоящему проснуться — в своей квартире, на продавленном диване, под одеялом, которое бабушка сшила из старых пальто. Открыть глаза — и увидеть потолок с трещиной, похожей на карту Волги. Услышать, как за стеной сосед Геннадий Петрович смотрит «Пусть говорят» на полной громкости. Потянуться к телефону, увидеть двенадцать пропущенных от Ленки и сообщение «Ты жива? Напиши, а то я уже нервничаю».

Открыть глаза — и понять, что всё было сном. Горы, маршрутка, Зулейха, боль, лифт, цифры на табло, старуха в чёрном. Сном. Длинным, подробным, клинически достоверным — но сном.

Я открыла глаза.

Каменный потолок. Балки. Пучки трав.

Не сон.

Я закрыла глаза. Подождала. Открыла снова.

Каменный потолок. Балки. Пучки трав.

Нет.

Ещё раз.

Каменный потолок. Балки. Чёртовы пучки чёртовых трав.

— Можешь хоть сто раз открывать и закрывать, — раздался голос от очага. Скрипучий, сухой, с ноткой мрачного веселья. — Ничего не изменится. Ты здесь.

Старуха. Фатима — она назвала своё имя вчера, когда поила меня отваром. Или позавчера. Или три дня назад. Я потеряла счёт времени, и это было одним из самых пугающих ощущений — страшнее каменных стен, страшнее бойниц, страшнее сабли на стене.

Время — единственное, что нельзя потерять. И единственное, что я, кажется, потеряла.

Двести сорок лет. Плюс-минус.

— Я всё слышу, — добавила Фатима. — Ворочаешься, как медведица в берлоге. Вставай уже. Светло давно.

Я села. Медленно, осторожно — тело помнило боль, даже если боли больше не было, и каждое движение сопровождалось внутренним зажмуриванием: «Сейчас как даст...» Не дало. Ничего не болело. Живот был мягким, тёплым, абсолютно спокойным — предатель. Два дня выворачивал меня наизнанку, а теперь лежит себе, как ни в чём не бывало.

Хотя, если подумать, он-то меня сюда и привёл. Если бы не киста — не было бы боли. Не было бы больницы. Не было бы лифта.

Спасибо, киста. Ты изменила мою жизнь. Буквально.

Я ощупала себя — уже второй раз за... сколько? За сутки? За двое? Руки. Мои. Веснушки — пересчитала на левом запястье: семь штук, как всегда. Родинка на сгибе локтя — на месте. Шрам на указательном пальце — порезалась ампулой на третьем месяце работы, Татьяна Ивановна тогда сказала: «Боевое крещение, Ковалёва, теперь ты настоящий фельдшер». На месте.

Дальше. Шея — цепочки нет. Игровой серебряной цепочки, которую я так и не выбросила, — нет. Потому что меня сюда засунули без моих вещей. Без цепочки, без телефона, без аптечки, без чемодана с четырьмя сарафанами и тремя книжками. Без пижамы с котиками.

Рубаха. Длинная, до щиколоток. Ткань — грубое полотно, не фабричное, а такое... ручное. Неровное. С характером. У ворота — вышивка, которую я вчера разглядела только мельком: красные и золотые нити, узор из ромбов, вписанных друг в друга. Красивая. Кто-то вло-

жил в эту вышивку время и умение. Рукава широкие, с завязками у запястий. Под рубахой — ничего.

Ничего.

Кто меня переодевал?

Я посмотрела на Фатиму. Она сидела у очага — в той же позе, в том же чёрном платке, — и помешивала что-то в котелке. Как будто не двигалась с тех пор, как я уснула. Как будто она — часть этой комнаты, как очаг, как балки, как камни.

— Фатима.

— А.

— Кто меня переодел?

— Я.

— Мои вещи...

— Какие вещи? — Она повернулась. — Тебя привезли в лихорадке. На тебе было... — она замаялась, подбирая слово, — ...странное. Короткая рубаха с чужими буквами. И штаны с рисунками. Кошки какие-то. Я сняла. Выбросила.

Она выбросила мою пижаму.

Мою пижаму с котиками. Подарок Ленки. Последний привет из моей жизни — из нормальной, реальной, понятной жизни, где есть телефоны, и скорые, и торты «Прага», и подруги, которые пишут «целую нос» в три часа ночи.

Она. Её. Выбросила.

— Зачем? — Мой голос дрогнул.

Фатима пожала плечами — сухо, по-птичьи.

— Негоже. Ни одна женщина такое не носит. Люди увидят — решат, что ты юродивая. Или хуже. Я дала тебе нормальную одежду.

Нормальную. Для неё — нормальную. Для восемнадцатого века — нормальную.

Я сглотнула. В горле стоял ком — тугой, горький, похожий на ком из глины. Не плакать, Ковалёва. Не здесь, не сейчас. Потом. Когда разберёшься. Когда поймёшь, что происходит. Когда составишь план.

План. Мне нужен план. Я — фельдшер скорой помощи. Я приезжаю на вызов, оцениваю ситуацию, ставлю диагноз, принимаю решение. Действую. Не паникую. Не плачу. Действую.

Ситуация: я находилась хрен знает где, хрен знает когда, без документов, без денег, без связи с реальностью. Тело — моё. Здоровье — подозрительно отличное. Окружение — каменная комната в каменной крепости, с саблей на стене и лошадьми во дворе. Рядом — старуха, которая говорит на странном русском и считает мою пижаму чем-то неприличным.

Диагноз: либо я сошла с ума, либо умерла, либо... переместилась во времени. Как в книжках, которые я читала по ночам между дежурствами, закутавшись в одеяло, с телефоном под подушкой. Попаданцы. Путешественники во времени. Героини, которые засыпают в двадцать первом веке и просыпаются при дворе какого-нибудь герцога.

Я всегда над ними посмеивалась. «Ну конечно, — думала я, листая страницы. — Девочка из Москвы попала в Средневековье и за три главы стала королевой. А что, удобно. Не надо ипотеку платить».

Вселенная, видимо, услышала мой сарказм и решила, что мне нужен практический опыт.

Решение: информация. Мне нужна информация. Где я. Когда я. Кто я — здесь, в этом времени. Что от меня ждут. И — самое главное — есть ли дорога обратно.

— Фатима, — я старалась говорить спокойно, по-деловому. Как на вызове. — Мне нужно кое-что понять. Можешь ответить на вопросы?

Она повернулась. Посмотрела на меня — долгим, оценивающим взглядом. Как будто решала — стоит ли тратить слова.

— Спрашивай.

— Где я?

— Кара-Юрт. Тёмный Дом. Крепость князя Кара-Дага.

Кара-Юрт. То же название, что у посёлка Зулейхи. Совпадение? Или...

— Это Кавказ?

— Горы, — Фатима сказала это так, будто другого ответа быть не могло. — Конечно горы. Что ещё?

— Какой народ здесь живёт?

Она нахмурилась.

— Странные вопросы. Лихорадка память отбила? — Пауза. — Народ князя. Кара-Даги. Горцы. Мусульмане. Живём здесь со времён, когда камни были молодыми.

— А я? Кто я — для них? Для тебя?

Фатима помолчала. Отложила ложку. Вытерла руки о подол — неторопливо, обстоятельно, как будто это была важная часть ответа.

— Ты — Дарья. Дочь русского купца. Ивана Ковалёва.

Ковалёва. Моя фамилия. Совпадение, которое уже переставало быть совпадением.

— Твой отец торгует на Кавказе. Ткани, порох, железо. Торговал хорошо, потом — плохо. Задолжал князю Кара-Дагу. Много задолжал. Отдать не смог. И отдал тебя.

— Отдал, — повторила я. Слово было плоское, как камень. — Меня. В уплату долга.

— Как невесту, — уточнила Фатима, и в её голосе мелькнуло что-то, что я не сразу опознала. Не жалость — скорее, констатация. Так врач сообщает диагноз: без эмоций, но с пониманием тяжести. — Князю нужна жена. Твой отец должен денег. Сделка.

Сделка.

Меня продали. Как корову. Как мешок пороха. Как ткань, которой торговал мой «отец». Купец Иван Ковалёв — которого я в жизни не видела, потому что моего настоящего отца звали Сергей, и он был водителем троллейбуса в Ростове, и он умер, когда мне было двенадцать, от инсульта, прямо за рулём, на маршруте номер семь.

— А настоящая Дарья? — Спросила я. — Та, которая... до меня. Что с ней?

Фатима посмотрела на меня. Долго. Неподвижно. Как камень смотрит на воду.

— Ты — Дарья, — сказала она наконец. — Тебя привезли больной. Ты горела три дня. Я думала — померёшь. Ты не померла. Вот и всё.

Нет. Не всё. Далеко не всё.

Я поняла — не мозгом, а чем-то глубже, тем самым фельдшерским чутьём, которое на скорой спасало жизни. Настоящая Дарья — та девушка, которую привезли больной, — умерла. Лихорадка забрала её. А вместо неё — в её тело, в её место, в её судьбу — влезла я. Дарина Ковалёва, фельдшер из Ростова, двадцать первый век. Как в пальто с чужого плеча. Тело — моё, потому что перенеслось всё целиком: веснушки, кудри, семьдесят пять килограммов. Но жизнь, которую мне предстояло прожить, — чужая.

Или — уже моя?

Голова кружилась. Не от болезни — от масштаба. От осознания, которое накатывало волнами: одна — шок, другая — отрицание, третья — паника, четвёртая — снова шок. Как на американских горках, только американские горки не длятся двести сорок лет.

— Мне нужно выйти, — сказала я. — Посмотреть. Увидеть.

— Рано, — отрезала Фатима. — Слабая.

— Я не слабая. У меня ничего не болит. Ничего, Фатима. Понимаешь? Два дня назад я умирала от боли, а сейчас — как новенькая. Это ненормально. Это... — я осеклась.

Как объяснить знахарке восемнадцатого века, что исчезновение кисты яичника без медицинского вмешательства — это медицинский нонсенс? Что тело не работает так? Что болезнь не испаряется, как роса на солнце?

Никак. Не объяснить.

— Хочешь посмотреть — смотри, — Фатима встала, распрямляясь по частям. — Но из комнаты — ни ногой. И молчи. Говорить будешь, когда я скажу. Поняла?

— Поняла.

— Не поняла, — проворчала она. — Но сойдёт.

Она открыла дверь — тяжёлую, деревянную, с железными петлями, — и я впервые увидела то, что было за пределами моей каменной комнаты.

Коридор. Узкий, каменный, с факелами в железных кольцах на стенах. Факелы не горели — было светло от окон-бойниц, через которые падали косые столбы солнечного света. Пол — каменные плиты, стёртые тысячами шагов до гладкости. Потолок — низкий, арочный. Пахло дымом, камнем и чем-то мясным — откуда-то тянуло запахом готовящейся еды.

Я стояла на пороге и смотрела.

Это было настоящее. Не декорация. Не съёмочная площадка. Не музей. Камень под босыми ногами был настоящим — холодным, шершавым, с крошечными кристалликами, которые покалывали ступни. Воздух был настоящим — густой, с привкусом дыма, совсем не похожий на стерильный больничный воздух, от которого сохнет в горле. Звуки были настоящими — откуда-то снизу доносился стук молота по железу, и голоса, и ржание лошади, и мычание коровы, и детский смех.

Я вернулась к бойнице в своей комнате. Встала на цыпочки — щель была узкая, на уровне моего лица — и прижалась к камню.

Двор. Я видела его вчера — мельком, в полубреду, в ужасе. Сейчас — в деталях.

Крепостной двор — не очень большой, метров тридцать на сорок. Вымощен камнем — неровным, грубым, между плитами пробивалась трава. Справа — конюшня: длинное каменное строение с деревянной крышей, из-за которого доносились лошадиные звуки. Слева — кузница: приземистая, с открытым проёмом, в котором мелькал огонь, и кузнец — широкоплечий, в кожаном фартуке — бил молотом по чему-то на наковальне. Искры летели, как маленькие звёзды.

В центре двора — колодец. Каменный, с деревянным воротом. Женщина — в длинном платье и платке — набирала воду, и ведро скрипело на верёвке, поднимаясь из глубины.

Люди. Мужчины — те, которых я видела вчера, и новые. Все — в одежде, которую я знала только по историческим фильмам: длинные рубахи или черкески, подпоясанные ремнями с серебряными бляшками, высокие мягкие сапоги, папахи. На поясах — обязательно — кинжалы. У некоторых — по два: один длинный, другой короткий. Как будто без кинжала на поясе мужчина здесь чувствовал себя голым.

Женщины — две, нет, три — на дальнем конце двора. В длинных платьях — ярких, с вышивкой. Платки, закрывающие волосы. Несли что-то — корзины? Кувшины? Двигались быстро, деловито, не глядя на мужчин.

Дети. Двое мальчишек гоняли тощую курицу по двору, и курица орала так, что слышно было, наверное, в соседнем ущелье. Девочка лет шести сидела на камне у стены и плела что-то из травы.

На стене — той, что выходила наружу, в сторону гор — стоял человек. Часовой. С копьём. В кожаном доспехе. Смотрел вдаль — туда, где горы сменялись небом.

Ни проводов. Ни антенн. Ни столбов. Ни пластика. Ни стекла — окна в зданиях были закрыты ставнями или промасленной тканью. Ни единого предмета, который мог бы принадлежать моему времени.

Я стояла у бойницы и впитывала.

Мозг — фельдшерский, рациональный, обученный работать в кризисе — перестал сопротивляться. Перестал искать объяснения. Перестал листать учебник в поисках диагноза, который описывал бы перемещение во времени. Мозг просто... принял. Временно. Рабочая

гипотеза, как мы говорили на скорой, когда не понимали, что с пациентом, но нужно было действовать.

Рабочая гипотеза: я попала в прошлое. В восемнадцатый век. На Кавказ. В горную крепость. В тело — в судьбу — девушки, которую отдали замуж за местного князя в уплату долга.

Рабочая гипотеза, от которой хотелось кричать. Но кричать было некогда.

— Фатима.

Старуха стояла в дверях — маленькая, чёрная, неподвижная. Как тень, которая отбилась от хозяина и решила жить самостоятельно.

— Расскажи мне про князя.

— Зачем?

— Мне нужно знать, к чему готовиться. Если меня завтра... увидят. Покажут. Оценят. Как товар на ярмарке. Мне нужно знать, кто покупатель.

Фатима хмыкнула. Посмотрела на меня с чем-то, отдалённо напоминающим уважение.

— Ты не так глупа, как выглядишь.

— Спасибо, Фатима. Ты тоже очень мила.

Она фыркнула. Но села — на свой табурет у очага, скрестив руки — и начала говорить.

— Князь Тамерлан. Кара-Даг. Молодой — тридцать лет. Высокий, сильный. Прозвище — Чёрный Барс. Зовут так, потому что быстрый, тихий и опасный. Воин. Хороший воин — из лучших в горах. Владеет крепостью, аулами, перевалами. Люди его уважают. Или боятся. Часто — и то, и другое.

Чёрный Барс. Господи. Это звучало как персонаж из тех самых книжек, которые я читала под одеялом. Тёмный герцог, мрачный князь, Повелитель Ночи. Только обложки с голым торсом не хватало.

— Какой он? — Спросила я. — Как человек?

Фатима помолчала. Когда она молчала, морщины на её лице, казалось, углублялись — как ущелья, в которые уходит свет.

— Холодный, — сказала она наконец. — Не жестокий — справедливый. Но холодный. Как камень зимой. Был другим — давно. До того, как...

Она замолчала. Резко, как будто наткнулась на стену.

— До того, как — что?

— Не моя история, — отрезала Фатима. — Не мне рассказывать. Узнаешь сама. Или не узнаешь — как Аллах решит.

— Он был женат?

Пауза. Длиннее предыдущей.

— Был.

— И?

— Она умерла. И ребёнок — тоже. Три года назад. С тех пор он не берёт жён. Не смеётся. Не... живёт. Ходит, дышит, правит — но не живёт.

Три года. Мёртвая жена. Мёртвый ребёнок. Тёмный дом с тёмным хозяином.

В книжках на этом месте героиня обычно чувствовала трепет и предвкушение. Загадочный вдовец с трагическим прошлым — что может быть романтичнее?

В реальности — если это была реальность — я чувствовала только холод. И желание окатиться где угодно, только не здесь. В своей квартире. В маршрутке с дедом в папаше. В лифте районной больницы. Даже на кушетке хирурга Ахмедова, с задранной футболкой и бесполезной гордостью.

Где угодно.

— Почему он взял меня? — Спросила я. — Если три года не брал жён — почему сейчас?

— Род, — просто сказала Фатима. — Ему нужен наследник. Без наследника — род умрёт. Крепость перейдёт к двоюродным, а двоюродные... — она скривилась, — не те люди, которым

можно доверить Тёмный Дом. Старейшины давили. Мать давила. Три года давили — он не слушал. А потом твой отец пришёл с долгом — и князь согласился. Не потому что хотел жену. Потому что устал сопротивляться.

Прекрасно. Жених, который взял меня не потому, что хотел, а потому что устал отказываться. Мечта любой женщины.

Хотя — чем это отличалось от Игоря? Тот тоже был рядом не потому, что хотел именно меня, а потому что... ну, так получилось. Удобно. Под рукой. А когда стало неудобно — ушёл.

Стоп, Ковалёва. Не время для рефлексии. Соберись.

— Что будет завтра? — спросила я. — Когда он меня «увидит»?

— Тебя приведут в большой зал. Он посмотрит. Задаст вопросы. Решит — годишься или нет.

— А если нет?

Фатима посмотрела на меня. И впервые за всё время нашего общения я увидела в её глазах что-то тёплое. Не жалость — нет. Скорее, понимание. Глубокое, горькое, женское.

— Если нет — тебя отправят обратно к отцу. Он должен будет вернуть долг деньгами. У него нет денег. Значит — тюрьма. Или хуже.

Значит, я должна «подойти». Должна понравиться. Должна быть... годной.

Как скот на ярмарке. Проверят зубы, копыта, подсчитают вес. Решат — берём или нет. Вес.

Я посмотрела на себя — на свои руки, выглядывающие из широких рукавов. Полные, мягкие, с ямочками на локтях.

— Фатима, — мой голос звучал ровно, почти безразлично, и я гордилась этим. — Как здесь... относятся к полным женщинам?

Она моргнула. Очевидно, вопрос был неожиданным.

— К полным?

— К таким, как я. С широкими бёдрами. С большим... — я обвела руками контур своего тела. — С этим всем.

Фатима посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который спрашивает, мокрая ли вода.

— Ты — женщина, — сказала она, как будто это объясняло всё.

— Да, но...

— Женщина должна быть женщиной. Мягкой. Тёплой. Чтобы дети были здоровые, чтобы мужу было за что держаться в холодную ночь. Кому нужна сухая ветка? Ветер дунул — и сломалась.

Я открыла рот. Закрыла. Открыла снова.

— То есть... здесь это — нормально?

— Что — нормально?

— Быть... такой. Большой.

Фатима посмотрела на меня — долго, внимательно, с выражением, которое я классифицировала бы как «недоумение, граничащее с беспокойством».

— Девочка, — сказала она медленно. — Ты больна была. Голова ещё горячая. Конечно, нормально. Больше мяса — больше жизни. Худая невеста — позор отцу. Значит, кормить не мог. Значит, бедный. Значит, дочь не ценил.

Я села на кровать.

Медленно. Как будто ноги подкосились — а они, в общем-то, и подкосились.

Двадцать шесть лет. Двадцать шесть лет я жила в мире, где моё тело было проблемой. Где каждый лишний килограмм — повод для стыда. Где «ты бы похудела» звучало чаще, чем «доброе утро». Где мать вздыхала. Где парень извинялся. Где блондинка на пляже сравнивала

меня с китом. Где зеркало каждое утро показывало мне женщину, которая занимала слишком много места в мире, рассчитанном на размер S.

А здесь — в горной крепости восемнадцатого века, у чёрта на рогах — старуха-знахарка смотрела на меня, как на сумасшедшую, потому что я спросила, нормально ли быть собой.

Нормально ли быть — мной.

Что-то внутри меня — что-то маленькое, забитое, сжавшееся в комок за двадцать шесть лет извинений за собственное существование — шевельнулось. Подняло голову. Моргнуло.

Не расправилось. Нет. До этого было далеко. Но — шевельнулось.

— Ладно, — я вытерла глаза. Незаметно. Тыльной стороной ладони. — Допустим. Допустим, я здесь, и это не бред, и не кома, и не загробная жизнь. Что мне делать?

— Выжить, — сказала Фатима просто. — Понравиться князю. Стать его женой. Родить сыновей. Остальное — приложится.

Программа-минимум. Ясно.

— А если я не хочу? Если я хочу... домой?

Фатима наклонила голову. Вороний жест. Глаза-угольки.

— Куда — домой?

Я открыла рот — и закрыла. Потому что ответить было нечего. Мой дом — в двадцать первом веке. За два с половиной столетия. За дверью лифта, которого здесь нет.

— Ты здесь, — мягко сказала Фатима. — Ты — здесь. И завтра — здесь. Князь увидит тебя. Он решит.

— А если я решу?

Она усмехнулась. Впервые — по-настоящему, с теплом.

— Тогда ты умнее, чем я думала. Но сначала — поешь. И помойся. И наденешь нормальное платье. Завтра тебя увидит не только князь — весь Тёмный Дом увидит.

Она поднялась и пошла к двери. Остановилась на пороге.

— И, девочка... Он не берёт жён по любви. Он берёт по долгу. Горе той, кто ему не угодит.

Дверь закрылась.

Я осталась одна. В каменной комнате, с саблей на стене и горами в бойницах. С телом, которое не болело, и душой, которая болела за двоих.

Я встала. Подошла к бойнице. Прижалась лбом к холодному камню — как тогда, в лифте, к стене кабины, — и закрыла глаза.

«Ладно, — подумала я. — Ладно, вселенная. Ты выиграла. Я здесь. В восемнадцатом веке. В горной крепости. Без телефона, без антибиотиков, без подруги. С князем, который коллекционирует мёртвых жён, и свекровью, о которой я ещё ничего не знаю, но уже боюсь. С телом, за которое тут, видимо, не стыдно — и это единственная хорошая новость за последние двести сорок лет».

Я открыла глаза. Горы стояли в бойнице — близкие, огромные, залитые утренним солнцем.

«Тото, у меня такое чувство, что мы уже не в Канзасе», — сказала Дороти, когда торнадо унёс её в волшебную страну.

У меня не было Тото. И торнадо был не торнадо, а больничный лифт. И волшебная страна пахла не маками, а козьим сыром и дымом.

Но чувство было то же самое.

Абсолютно то же самое.

## Глава 5. Чужая невеста

### Дарина

Я провела остаток дня как следователь на месте преступления — собирала улики.

Улики того, что моя жизнь окончательно и бесповоротно сошла с рельсов.

Фатима, надо отдать ей должное, оказалась неплохим информатором. Ворчливым, скупым на слова, с привычкой отвечать на вопрос притчей или молчанием, — но информатором. Нужно было просто правильно спрашивать. И не спрашивать лишнего — потому что на лишнее она смотрела так, будто я предлагала ей съесть жабу.

Итак. Факты. Я разложила их в голове, как карточки на столе, — аккуратно, по порядку, как нас учили систематизировать данные на вызовах.

Факт первый: я находилась в крепости Кара-Юрт, которую местные называли Тёмный Дом. Крепость принадлежала роду Кара-Дагов — «чёрная гора», если переводить буквально. Располагалась в горах, на перевале, контролирующем несколько торговых путей. Стратегический объект, как сказали бы военные. Или — удобное место, чтобы грабить караваны, как сказали бы караванщики. Впрочем, Кара-Даги, по словам Фатимы, караваны не грабили. Они с них брали «плату за проход», что, в общем-то, было тем же грабежом, только в красивой обёртке.

Факт второй: год — тысяча семьсот восемьдесят третий. Правление Екатерины II. Присоединение Крыма — если мне не изменяла память, это случилось именно в этом году. Кавказ — буферная зона между Российской империей и Османской. Территория, где русские офицеры, горские князья, персидские купцы и турецкие эмиссары варились в одном котле, и котёл этот кипел непрерывно.

Я помнила это из школы. Смутно, обрывочно, как помнят сон — общие контуры без деталей. Кавказская война начнётся позже, в девятнадцатом веке. Но напряжение уже было. Империя давила. Горцы сопротивлялись. Между ними — тонкая линия из торговых договоров, военных союзов и браков по расчёту.

Браков по расчёту.

Как мой.

Факт третий — и самый болезненный: я была здесь как Дарья Ковалёва. Дочь русского купца — нет, Фатима поправилась, дворянина, обедневшего дворянина, — Ивана Ковалёва, который перебрался на Кавказ торговать и влез в долги. Настоящая Дарья, судя по всему, была примерно моего возраста, моего телосложения и — невероятное совпадение — моей фамилии.

Совпадение?

Я не верила в совпадения. Шесть лет на скорой отучили. Когда у пациента «совпадают» симптомы трёх разных заболеваний — это не совпадение, это неправильный диагноз.

— Фатима, — я сидела на кровати, скрестив ноги, и грызла лепёшку, которую старуха принесла вместе с чашкой кислого молока. — Расскажи мне про Дарью. Какая она была? До болезни.

— Я её до болезни не видела, — Фатима помешивала очередной отвар. Она, кажется, только и делала, что помешивала отвары. — Привезли на арбе. Завёрнутую в одеяло. Горела, бредила. Я думала — горячка. Или чума. Но нет, не чума. Живот у неё болел. Низ. Корчилась, кричала. Вот здесь, — она показала на правый бок, — вот здесь горело.

Правый бок. Низ живота. Корчилась и кричала.

Те же симптомы.

Та же киста? Тот же перекрут? Тот же диагноз — у девушки из восемнадцатого века, которая умерла от того, от чего я не умерла?

Я поставила чашку. Руки тряслись — мелко, почти незаметно, но я чувствовала.

— Как она выглядела?

Фатима пожала плечами.

— Как ты. Большая. Рыжая. Лицо в пятнах — вот этих, — она ткнула пальцем в мои веснушки. — Я думала — оспины, но нет, просто пятна. Красивая. Кровь с молоком, как русские говорят.

Рыжая. Пышная. С веснушками.

Я.

Она выглядела как я.

«Стоп, — сказала я себе. — Стоп, Ковалёва. Думай. Ты умеешь думать. Ты каждый день принимаешь решения, от которых зависят жизни. Подумай сейчас. Рационально. Логически. Без паники».

Вариант первый: я переместилась в тело другого человека. Классический «попаданец» из книжек. Душа Дарины вселилась в тело Дарьи. Проблема: тело — моё. Мои веснушки, моя родинка, мой шрам на пальце. Если бы я вселилась в чужое тело, у меня были бы чужие руки. Чужие шрамы. Чужая родинка — или её отсутствие.

Вариант второй: я переместилась целиком — с телом. Физически. Как посылка, отправленная не по тому адресу. Из лифта районной больницы — в каменную комнату горной крепости. Из двадцать первого века — в восемнадцатый.

Но тогда — что с настоящей Дарьей? Она была больна. Фатима три дня её выхаживала. А потом — «очнулась». Только очнулась уже не Дарья, а я. Подмена? Замена? В какой момент Дарья стала мной?

В момент смерти?

Она умерла — и я заняла её место?

Мне стало нехорошо. Не физически — морально. Как будто я украла что-то. Чью-то жизнь. Чьё-то место в мире. Чью-то кровать, чью-то рубашу, чьего-то жениха.

«Ты ничего не крада, — сказала я себе строго. — Ты не просила об этом. Ты не выбирала. Ты лежала в лифте и теряла сознание. Тебя сюда не пригласили — тебя сюда забросило. Как щепку — в водоворот».

Не помогло. Чувство вины — иррациональное, глупое, неуместное — сидело в груди, как заноза.

— Фатима, — я сглотнула. — Когда она... когда я очнулась. Три дня назад. Ты заметила что-нибудь странное?

— Странное, — повторила Фатима. Не вопросительно. Задумчиво. — Ты заговорила иначе. До болезни — молчала. Или плакала. Тихая была, как мышь. А очнулась — и заговорила. Громко. Быстро. Слова другие. Вопросы — странные. «Какой год», «где больница»... — она посмотрела на меня. — Я старая. Много видела. Людей, которых лихорадка меняла, — тоже видела. Но так... — она покачала головой. — Ты — не она. Та девочка, которую привезли — она была другая.

Пауза. Тяжёлая, как камень.

— Я знаю, — сказала я.

— Знаешь — что?

— Что я — не она. Не Дарья.

Фатима замерла. Рука с ложкой застыла над котелком. Глаза-угольки впились в меня — острые, немигающие.

— А кто?

Вот он — момент. Рассказать? Не рассказать? Если рассказать — примет за безумную. Или за одержимую. В восемнадцатом веке одержимых лечили молитвами — или не лечили вовсе. Привяжут к кровати, позовут муллу, и до свидания, Дарина Ковалёва, приятного путешествия в мир вечных галлюцинаций.

Если не рассказать — придётся врать. Притворяться Дарьей. Которую я не знала. Чью жизнь не прожила. Чей язык не до конца понимала. Чьи привычки, чьё прошлое, чьи отношения с отцом-купцом — всё это было для меня чёрным ящиком.

Рано или поздно меня раскусят. Один неверный ответ. Одно слово, которого Дарья не могла знать. Одна реакция, которая выдаст.

Но — не сейчас. Не сегодня. Сегодня мне нужно выжить. А для этого нужно быть Дарьей.

— Лихорадка, — сказала я. — Ты сама сказала — меняет людей. Я многое забыла. Всё путается. Ты сможешь мне вспомнить?

Фатима смотрела на меня. Долго. Так долго, что мне стало трудно дышать. Она знала. Я видела — она знала, что я вру. Или, по крайней мере, подозревала. Эти глаза — чёрные, древние, видевшие рождения и смерти, — они видели насквозь.

Но она кивнула.

— Помогу, — сказала тихо. — Что хочешь знать?

К вечеру у меня была карта.

Не бумажная — в голове. Карта моей новой жизни, составленная из обрывков, недомолвок и скудных ответов Фатимы.

Дарья Ковалёва. Двадцать три года — на три года младше меня. Дочь Ивана Фёдоровича Ковалёва, обедневшего дворянина из Тульской губернии, который подался на Кавказ торговать. Мать умерла при родах — Дарья росла без матери. Отец любил — как мог, как умел, между торговыми поездками и долговыми расписками. Дарья выросла тихой, послушной, богобоязненной. Читать умела. Вышивать умела. Улыбаться, когда хотелось плакать, — тоже умела.

Я слушала — и думала о том, как похоже и как непохоже. Обе Ковалёвы. Обе без матери — моя мать жива, но иногда это было хуже, чем если бы она... нет. Нет, я так не думаю. Но она никогда не была рядом — не так, как нужно. Не так, как Зулехха была рядом — за одни сутки.

Обе пышные. Обе рыжие. Обе — отданные мужчинам, которые не просили.

Игорю — по инерции. Князю — за долги.

Параллели, от которых мурашки ползли по спине.

— Отец задолжал князю четыре тысячи рублей серебром, — рассказывала Фатима, помещивая очередной котелок. — Закупил товар в кредит. Караван ограбили. Товар пропал. Деньги — тоже. Князь ждал год. Потом — ещё год. Потом сказал: «Плати или отдай дочь». Отец... — пауза. — Он плакал, когда привёз тебя. Я видела. Мужчина — плакал. Обнимал тебя, просил прощения. Потом уехал. Ты стояла во дворе и смотрела ему вслед, и лицо у тебя было... — Фатима покачала головой. — Мёртвое. Живая — а лицо мёртвое.

Я молчала. Что тут скажешь? Отец, который продал дочь за долги. В восемнадцатом веке — нормальная практика. Дочь — имущество. Актив. Валюта. Разменная монета в мужских играх.

Через двести сорок лет мало что изменилось. Только валюта стала другой. Не серебряные рубли — а лайки, калории, размер одежды.

— Через два дня после приезда ты заболела, — продолжала Фатима. — Сначала тихо — ныла, что живот тянет. Потом — хуже. Лихорадка. Рвота. Боль такая, что кричала на весь дом. Я поила отварами, прикладывала припарки. Три дня. На третий день — затихла. Я думала — всё. Конец.

Затихла. На третий день.

Смерть. Настоящая Дарья умерла.

И в то же время — или в тот же момент? — Я потеряла сознание в лифте.

Два тела. Два века. Одна болезнь. Одна смерть — и одно рождение.

Мой рациональный мозг — тот самый, который ставил диагнозы и считал пульс, — отказывался это принимать. Это не укладывалось ни в какую систему координат. Ни в медицинскую. Ни в физическую. Ни в какую-либо вообще.

Но я была здесь. Это — укладывалось. Потому что камень под ногами был твёрдым, и воздух пах дымом, и старуха напротив была настоящей — морщины, глаза, запах полыни от её рук.

— Фатима, — тихо спросила я, — а до меня... до Дарьи... кто-нибудь ещё вот так менялся? После болезни. После лихорадки. Был одним человеком — стал другим?

Она долго молчала. Так долго, что я решила — не ответит.

— В горах говорят, — произнесла она наконец, не глядя на меня, — что иногда Аллах забирает одну душу и вкладывает другую. Как перо в ножны. Тело — ножны. Душа — клинок. Иногда старый клинок ломается, и мастер вкладывает новый. Лучше. Крепче.

Я уставилась на неё.

— Ты... ты знаешь, что со мной произошло?

— Я знаю то, что вижу, — она повернулась, и в её глазах была такая глубина, что у меня перехватило дыхание. — Я вижу девочку, которая говорит не как та, что приехала. Думает не так. Смотрит не так. У той были глаза побитой собаки. У тебя — глаза волчицы в клетке. Другой зверь, девочка. Совсем другой.

Волчица в клетке. Ну, спасибо.

Хотя — точнее не скажешь.

— Мне всё равно, кто ты, — добавила Фатима. — Мне — всё равно. Ты — живая. Здоровая. Сильная. Остальное — дело Аллаха. Но другим... — она подняла палец, — другим об этом знать не нужно. Поняла?

— Поняла, — я кивнула. — Я — Дарья. Дочь купца. Невеста князя. Больше ничего.

— Больше ничего, — подтвердила Фатима.

Стратегическое мышление включилось ближе к ночи — когда паника, наконец, устала и легла подремать, освободив место для чего-то более полезного.

Я лежала на кровати, смотрела в каменный потолок и составляла план. Как на вызове — чётко, по пунктам, без эмоций.

Пункт первый: выжить. Очевидно. Базово. Я — женщина в восемнадцатом веке, без денег, без документов (ну, какие тут документы), без связей, без знания языка (русский — да, но местный горский — нет), без понимания обычаев. Единственная моя ценность — моё тело. В смысле — я физически здорова, молода и, как выяснилось, в местной системе координат вполне привлекательна. Это — актив. Мой единственный актив, если не считать медицинских знаний, о которых лучше пока молчать.

Пункт второй: притвориться Дарьей. Тихой, послушной Дарьей, которая приехала больной и «не всё помнит» после лихорадки. Фатима прикрывает — это я чувствовала. Почему — не знала. Но чувствовала. Шесть лет на скорой учат читать людей: этой старухе я почему-то была нужна живой и здоровой. Значит — можно опереться. Временно.

Пункт третий: понравиться князю. Или хотя бы — не разозлить. Не раздражить. Не дать ему повод отправить меня обратно к «отцу», которого я в глаза не видела и который, если Фатима не врала, ждал в каком-то торговом городке, придавленный долгами.

Пункт четвёртый — самый важный и самый невозможный: найти путь обратно.

Путь обратно.

Я произнесла это мысленно — и слова звякнули, как пустая жестянка. Путь обратно. Через что? Через лифт, которого здесь нет? Через болезнь — снова заболеть и потерять сознание? Через смерть?

Я не знала, как попала сюда. Не знала — механизма, причины, триггера. Лифт? Боль? Цифры на табло? Совпадение болезней — моей и Дарьиной? Что-то в горах — какая-то аномалия, какой-то разлом во времени?

Я не знала. И — самое страшное — не знала, узнаю ли когда-нибудь.

А значит — пункт четвёртый мог оставаться пунктом навсегда. Вечным «потом». Вечным «когда-нибудь». Вечной надеждой, которая будет таять с каждым днём, проведённым в каменных стенах.

«Хватит, — оборвала я себя. — Хватит, Ковалёва. Ты не знаешь будущего. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты знаешь только то, что есть сейчас. А сейчас — ты здесь. Живая. Здоровая. С мозгами, которые пока работают. Этого достаточно. На сегодня — достаточно».

Я повернулась на бок. Ковёр-покрывало был тяжёлым и тёплым. Пах шерстью, дымом и чем-то, чему я не знала названия, — временем? Чужой жизнью? Историей?

За бойницей — звёзды. Те же самые звёзды, что я видела из окна Зулейхиного дома. Или — не те же? Те же созвездия, те же рисунки на чёрном бархате. Но свет — другой. Ярче? Чище? Как будто между мной и звёздами убрали двести сорок лет пыли, дыма и человеческих ошибок.

Фатима сидела у очага. Не спала — или спала с открытыми глазами, я уже не понимала. Маленькая чёрная фигурка, неподвижная, как часть стены.

— Фатима.

— Мм.

— Ты сказала — завтра меня увидит князь. Как это будет?

— Тебя приведут в большой зал. Ты будешь стоять. Он будет смотреть. Задаст вопросы — если захочет. Обычно не задаёт. Обычно — посмотрел, кивнул, ушёл. Свадьба через месяц.

— А если не кивнул?

— Тогда — позор. Для тебя. Для отца. Для рода. Девушку, которую вернули, замуж уже никто не возьмёт. Порченная.

Порченная.

Я знала это слово. В двадцать первом веке оно тоже существовало — только произносилось иначе. «Она уже не та». «После тридцати — на что надеяться?» «Кому ты нужна с ребёнком от первого брака?» Разные века — одна песня.

— Что мне надеть?

— Я приготовлю. Платье есть — Дарьино, привезли с ней. Хорошее, хоть и не богатое. Волосы уберём. Лицо вымоем.

— Мне нужно что-то знать? Обычай? Правила? Что можно, что нельзя?

Фатима повернулась. Посмотрела на меня — и впервые за весь день я увидела в её глазах что-то, похожее на одобрение.

— Нельзя: смотреть ему в глаза, пока он не позволит. Говорить, пока не спросит. Поворачиваться спиной. Смеяться. Плакать.

— А можно?

— Стоять прямо. Молчать. Быть красивой. — Она помолчала. — И молиться, чтобы ты ему подошла.

— А если я ему скажу, что думаю?

Фатима уставилась на меня.

— Что — скажешь?

— Ну... что я думаю. О ситуации. О том, что меня продали за долги, как козу. О том, что я — человек, а не мешок пороха. О том, что...

— Ты умрёшь, — сказала Фатима спокойно.

— В смысле?

— В прямом. Нет, он тебя не убьёт. Он не жестокий. Но он — князь. В этих горах слово князя — закон. Если ты оскорбишь его при людях, если нарушишь обычай, если покажешь неуважение — тебя не казнят. Тебя просто... отдадут. Кому-нибудь. Кому-нибудь, кому всё равно, что думает женщина. А такие — есть. Много. И они — не князь. Они не будут спрашивать, что ты думаешь. Они не будут ждать.

Я молчала.

— Девочка, — Фатима подошла и села рядом. Маленькая, сухая, пахнувшая полынью и огнём. — Послушай. Я не знаю, откуда ты. Не знаю, что с тобой случилось. Может, лихорадка. Может, Аллах. Может, джинны. Мне — всё равно. Но я вижу: ты — сильная. Упрямая. Злая — как волчица. И это хорошо. Волчица выживет там, где овца погибнет. Но даже волчица должна знать, когда показывать зубы, а когда — прятать.

Она положила руку на мою. Сухая, горячая, твёрдая — как корень дерева, вросший в камень.

— Завтра — прячь. Слушай. Смотри. Молчи. Пусть он думает, что ты — овца. Тихая, послушная, испуганная. Покажешь зубы — потом. Когда поймёшь, кому можно доверять. Когда узнаешь, где стены, а где — двери.

Мудрая женщина. Мудрая, страшная, прекрасная женщина.

— Спасибо, Фатима.

— Не благодари. Спи.

Я легла. Закрыла глаза.

«Прячь зубы, — повторила я про себя. — Слушай. Смотри. Молчи. Будь овцой».

Будь овцой.

Я — Дарина Ковалёва. Фельдшер скорой помощи. Я вытаскивала людей из-под завалов, останавливала кровотечения голыми руками, делала непрямой массаж сердца на заднем сиденье «буханки», несущейся по встречке. Я ела торт «Прага» после того, как мужчина, которого я любила, сказал, что ему за меня стыдно, — и не сломалась. Не сломалась, слышите?

Овцой — смогу. Временно. Пока не пойму, как отсюда выбраться.

А зубы — зубы у волчицы всегда при ней.

Я перевернулась на другой бок. Ковёр пах шерстью и дымом. Огонь в очаге потрескивал — тихо, как шёпот. Фатима бормотала что-то у котелка — не то молитву, не то заговор, не то колыбельную.

И — на грани сна, на самом краешке сознания — я услышала её голос. Тихий. Серьёзный. Не мне — себе. Или — ночи. Или — горам за бойницей.

— Он не берёт жён по любви. Он берёт по долгу. И горе той, кто ему не угодит.

Горы за окном молчали. Звёзды горели. Огонь трещал.

Я закрыла глаза и подумала: «Завтра. Завтра я увижу князя. Чёрного Барса. Человека, которому меня продали. Человека, у которого мёртвая жена и мёртвый ребёнок, и холод внутри, и три года без смеха. Человека, который посмотрит на меня и решит — жить мне или...»

Нет. Не «или». Жить. Я буду жить.

В этом веке, в этом теле, в этой крепости — но жить.

Потому что Дарина Ковалёва — не овца.

И даже не волчица.

Дарина Ковалёва — фельдшер скорой помощи. А это значит — она не имеет права умирать. У неё ещё смена не закончилась.

## Глава 6. Тёмный Дом

**Дарина**

Утро началось с того, что Фатима окатила меня ведром воды.

Холодной. Ледяной. Горной воды, от которой перехватило дыхание и кожа покрылась мурашками размером с горошину.

— Фатима! — Я взвизгнула, хватая ртом воздух. — Ты... что... зачем...

— Мыться, — невозмутимо ответила она, ставя второе ведро рядом с деревянным корытом, которое откуда-то притащила, пока я спала. — Нельзя перед князем грязной. Позор.

— Можно было предупредить!

— Предупредила. Сказала — помоешься. Ты помылась?

— Я думала — тёплой водой! Как нормальные люди!

Фатима посмотрела на меня с тем выражением, которое я уже начинала узнавать. «Странная девочка. Странная, но терпимо».

— Тёплая вода — для больных и рожениц. Ты — ни то, ни другое. Мойся.

Я мылась. Ледяной водой, куском чего-то, что Фатима назвала мылом, а я бы назвала камнем с претензией — серое, бугристое, пахнущее золой и каким-то жиром. Но пенилось. И кожа после него скрипела, как натёртое стекло.

Фатима тёрла мне спину жёсткой тряпкой с такой энергией, будто снимала штукатурку. Я стиснула зубы и терпела. На скорой и не такое бывало — однажды мы везли пациента, который был настолько грязен, что фельдшер Татьяна Ивановна отмывала его прямо в «буханке», хозяйственным мылом и матом. Пациент выжил. Я — тоже выживу.

Потом — волосы. Мои рыжие кудри, которые в обычной жизни подчинялись только кондиционеру за четыреста рублей (со скидкой) и молитвам, здесь повели себя как стая рыжих бесов. Фатима вымыла их отваром из каких-то трав — пахло ромашкой и ещё чем-то горьковатым — и принялась расчёсывать. Деревянным гребнем. С зубцами, которые, кажется, были вырезаны из кости.

Каждый узелок — отдельная битва. Я шипела. Фатима тянула.

— У тебя волосы, как шерсть у горного барана, — сообщила она с профессиональной отстранённостью.

— Спасибо, Фатима. Ты просто кладёшь комплиментов.

— Не знаю, что такое «комплименты». Но шерсть у барана — хорошая. Тёплая. Крепкая. Я решила считать это похвалой.

Потом — платье.

Фатима достала его из сундука в углу — деревянного, окованного железом, в котором, видимо, хранились все земные пожитки покойной Дарьи. Покойной. Мне стало не по себе от этого слова, но я проглотила и его — вместе с комом в горле.

Платье было... не то, чтобы роскошным. Но и не бедным. Тёмно-синяя ткань — плотная, шерстяная, мягкая на ощупь. Длинное, до пола, с широкими рукавами. На груди и по подолу — вышивка: серебряные нити, узор из переплетённых ветвей. Поверх — что-то вроде безрукавки, расшитой мелкими монетками, которые тихо звенели при каждом движении.

— Руки вверх, — скомандовала Фатима, и я послушно подняла руки, чувствуя себя трёхлетним ребёнком, которого наряжают в детский сад.

Платье скользнуло по телу — по моему телу, большому, мягкому, привычному. И я почувствовала...

Странно. Я почувствовала, что оно мне впору.

Не так, как бывало в Ростове, когда я заходила в магазин и половина вещей не налезала, а вторая половина сидела как мешок. Это платье было — моим. Оно обнимало грудь, мягко

облегало талию (которая у меня, к удивлению многих, была), струилось по бёдрам, не обтягивая, а обволакивая. Ткань ложилась складками, и эти складки — о чудо — не подчёркивали «проблемные зоны», а создавали силуэт. Мягкий, женственный, плавный.

Фатима обошла вокруг меня, осмотрела критически. Подтянула пояс — широкий, тканый, с серебряной пряжкой. Поправила ворот.

— Хорошо, — вынесла вердикт. — Грудь — хорошо. Бёдра — хорошо. Живот... — она пожала плечами, — живот есть живот. Значит, ела хорошо. Значит, отец кормил. Не позор.

Не позор. Мой живот — не позор.

Я моргнула. Быстро, несколько раз. Не плакать. Не сейчас.

Потом — волосы. Фатима заплела их — туго, в две косы, уложила вокруг головы, закрепила чем-то — шпильками? Костяными? — и накинула сверху платок. Тонкий, полупрозрачный, белый с серебряной каймой.

— Посмотри, — она протянула мне что-то.

Зеркало. Не зеркало — кусок полированного серебра, мутный, неровный, в котором отражение было скорее намёком, чем портретом. Но я увидела.

Женщина. Не «толстая Даринка». Не «Ковалёва, ты бы похудела». Не «кит на пляже». Женщина — статная, полногрудая, с рыжими волосами, уложенными короной, с зелёными глазами на бледном веснушчатом лице, в тёмно-синем платье, которое делало её похожей на...

На кого? На боярыню с картины Сурикова? На жену викинга? На королеву из тех книжек, которые я читала по ночам?

На кого-то, кем я никогда не была.

Или — была всегда, но не знала.

— Красивая, — сказала Фатима. Просто. Как факт.

Я отложила зеркало. Потому что, если бы смотрела ещё секунду — заплакала бы. А волчицы не плачут перед выходом на охоту.

Меня вели по коридорам Тёмного Дома, и я впервые видела его — по-настоящему, не через щель бойницы, не сквозь пелену лихорадки.

Крепость была... Я подбирала слово и не могла найти. «Величественная» — слишком парадно. «Мрачная» — слишком просто. «Красивая» — не то. Она была — настоящей. Настоящей так, как бывает настоящим перелом кости: грубо, больно и неоспоримо.

Кара-Юрт был вырублен в скале. Не построен — вырублен. Как будто кто-то взял гору — целиком, со всеми её потрохами — и выскреб изнутри, оставив стены, башни, коридоры, залы. Камень был повсюду: под ногами, над головой, по бокам. Серый, с прожилками кварца, который поблёскивал в свете факелов, как крошечные звёзды. В некоторых местах стены были обтёсаны гладко — видимо, в парадных помещениях, — а в других оставлены грубыми, с выступами и впадинами, как лицо старика.

Коридоры были узкими — двое с трудом разошлись бы. Потолки — низкие, арочные, с железными кольцами для факелов. Пол — каменные плиты, стёртые до блеска тысячами шагов, тысячами лет. Я шла, и мои босые ноги — Фатима не нашла обуви моего размера и наскоро сунула мне какие-то кожаные чуваки, мягкие и тонкие, — ступали по камню, который помнил людей, чьих имён не сохранила даже история.

Фатима шла впереди — маленькая чёрная тень, быстрая и бесшумная. Я — за ней, стараясь не отставать и не споткнуться. Платье было длинным, непривычным — я привыкла к джинсам, кроссовкам, к свободе движения. Здесь каждый шаг был — искусство: поднять подол, не наступить на край, не зацепиться за выступ в стене.

Мы спустились по лестнице — винтовой, каменной, такой узкой, что мои бёдра едва помещались между стенами. Я прижималась боком к камню и думала: «Вот где размер имеет значение. И не в мою пользу». Потом — коридор пошире. Окна — настоящие, не бойницы,

— с деревянными ставнями, распахнутыми в утренний свет. Сквозь них я увидела горы — близко, ослепительно, как открытку.

И людей.

Они появлялись — из дверей, из коридоров, из ниш в стенах. Слуги? Домочадцы? Обитатели крепости? Женщины в платках, мужчины в черкесах, дети, которые шмыгали мимо, как ящерицы. И все — все без исключения — смотрели.

На меня.

Я чувствовала их взгляды кожей. Буквально — кожей, которая покрывалась мурашками, как будто по ней вели кончиками пальцев. Взгляды были разные: любопытные, настороженные, оценивающие. Некоторые — откровенно неприязненные. Другие — нейтральные. Третьи — такие, которые я не могла прочесть.

И — шепотки.

Они начались сразу, как только мы вышли из моей комнаты. Тихие, как шелест сухих листьев. На том языке, которого я не знала, — горском, гортанном, с резкими согласными и мягкими гласными. Я не понимала слов, но тон — тон я понимала прекрасно. Шесть лет на скорой учат слышать не слова, а интонации. Страх звучит иначе, чем злость. Презрение — иначе, чем любопытство. Жалость — иначе, чем зависть.

Здесь было всего понемногу.

Две женщины у колодца — одна наклонилась к другой, прикрыв рот ладонью. Я поймала обрывок — на русском, грубом, ломаном: «...русская... толстая...» Вторая хихикнула.

Толстая.

Это слово прилетело, как пощёчина. Привычная пощёчина. Из тех, к которым вроде привыкаешь, но каждый раз — больно. Каждый раз — как в первый. Как на пляже, с блондинкой и китом. Как в раздевалке спортзала, куда я ходила три раза, — три раза, потому что на третий услышала, как девушка на соседнем тренажёре сказала подруге: «Зачем она вообще пришла? Тут ей уже ничего не поможет».

Я стиснула зубы. Спина выпрямилась — автоматически, инстинктивно, как у солдата при звуке горна. Подбородок вверх. Плечи назад. Взгляд — прямо. Не видеть. Не слышать. Не показывать, что больно.

И тут — второй голос.

Мужской. Негромкий. Одобрительный.

Я не поняла слов — они были на горском, — но Фатима, не оборачиваясь, перевела. Тихо, одними губами, так что услышала только я:

— Говорит: «Широкие бёдра. Много сыновей родит».

Я споткнулась.

Фатима обернулась, сверкнула глазами — «иди, не останавливайся» — и двинулась дальше.

Широкие бёдра. Много сыновей родит.

Мужчина — пожилой, с седой бородой и кинжалом на поясе — смотрел на меня. Без похоти. Без насмешки. С тем же выражением, с каким дед в маршрутке назвал меня худой. Оценивающе — но не так, как оценивают внешность. Так, как оценивают... потенциал. Способность. Функцию.

И рядом — молодой парень, лет двадцати, широкоплечий, с чёрными кудрями, выбивающимися из-под папахи. Он смотрел на меня — и глаза у него были... другие. Не оценивающие. Восхищённые. Он смотрел на меня так, как в двадцать первом веке парни смотрели на девушек из инстаграма — тех, худых, подтянутых, с фильтрами и рёбрами.

Только он смотрел — на меня.

На мои широкие бёдра. На мою грудь, обтянутую синей тканью. На мою талию, подчёркнутую тканым поясом. На мои руки — полные, мягкие, белые на фоне тёмного платья.

Он смотрел — и мне стало жарко.

Не от стыда. Не от злости.

От чего-то, чему я не знала названия. Или знала — но боялась произнести. Потому что это было слишком ново, слишком странно, слишком... невозможно.

Меня — меня, Дарину Ковалёву, пятьдесят четвёртый размер, «кит на пляже», «девушка, за которую стыдно» — находили красивой. Не вопреки фигуре. Не «у тебя красивое лицо, но...». А именно — фигуру. Именно — бёдра. Именно — всё то, что я прятала, стыдилась, ненавидела в зеркале каждое утро.

Здесь это было — красотой.

Я не знала, что с этим делать. Совсем. Как пациент, которому сообщают, что болезнь, от которой он страдал всю жизнь, — на самом деле не болезнь.

Не болезнь.

Никогда не была.

## Глава 7. Темный Дом

### Дарина

Мы прошли через двор — тот самый, который я видела из бойницы. Вблизи он был ещё более живым: кузнец стучал молотом, искры летели оранжевыми мотыльками, лошади фыркали у коновязи, пахло навозом, дымом, горячим железом и хлебом. Да, хлебом — откуда-то из дальнего угла двора тянуло запахом свежей выпечки, и мой желудок немедленно напомнил о себе.

Мы пересекли двор и вошли в другую часть крепости — парадную, если можно так назвать. Здесь коридоры были шире, потолки — выше, стены — обтёсаны гладко и местами увешаны коврами. Не для красоты — для тепла. Камень хранил холод, как погреб, и я порадовалась шерстяному платью.

На стенах — оружие. Сабли, кинжалы, щиты, луки. Не декорация — рабочее, боевое, с потёртыми рукоятками и зарубками на лезвиях. Одна сабля — огромная, двуручная, — висела над аркой, как предупреждение. «Добро пожаловать в Тёмный Дом. Веди себя хорошо, или...»

Или.

Фатима остановилась перед дверью. Большой, двустворчатой, из тёмного дерева, с железными петлями и засовом. На двери — резьба: переплетённые линии, геометрический узор, похожий на лабиринт. Или на ловушку.

— Здесь, — сказала Фатима. — Большой зал. Он ждёт.

Она повернулась ко мне. Маленькая, чёрная, с глазами-угольками. Подняла руку и — неожиданно, невозможно нежно — поправила мой платок.

— Помни. Глаза вниз. Молчи. Стой прямо. Будь...

— Овцой, — закончила я.

— Умной овцой, — поправила Фатима. И — тень улыбки, такая быстрая, что я не была уверена, что не придумала её. — Иди.

Она толкнула дверь.

Большой зал Тёмного Дома был... большим. Вот так — без изысков, без метафор, без литературных красотей. Он был чертовски, неприлично, невозможно большим для крепости, вырубленной в скале. Как будто строители — или те, кто вырубал, — решили: «А давайте просто уберём гору. Всю. Изнутри. Зачем мелочиться?»

Потолок терялся в темноте — своды были так высоки, что факелы на стенах не доставали до верха, и там, наверху, клубилась тень, как живое существо. Стены — грубый камень, увешанный коврами и шкурами. Пол — каменные плиты, начищенные до блеска. По периметру — колонны. Не изящные, как в греческих храмах, а толстые, массивные, вырубленные из того же камня, что и стены. Каждая — как дерево, каждая — со следами резца.

У дальней стены — очаг. Огромный, в полстены, с живым огнём, который гудел и потрескивал, бросая по залу рыжие тени. Дым уходил вверх, в отверстие в потолке — я видела кусочек неба, синий и далёкий.

По обеим сторонам зала — люди. Стояли вдоль стен, как почётный караул. Мужчины — в парадных черкесках, с оружием, с серьёзными лицами. Несколько женщин — в ярких платках, у дальней стены, полускрытые тенью. Все молчали. Все смотрели.

На меня.

Я шла по залу — от двери к дальнему концу, где...

Где он сидел.

Не трон. Нет. Кресло — высокое, резное, из тёмного дерева, с подлокотниками в виде бараньих голов. Стояло на небольшом возвышении — три каменные ступени, — у самого очага, так что огонь за спиной превращал сидящего в силуэт. Тёмный силуэт на фоне пламени.

Я шла. Платье шуршало по камню. Монетки на безрукавке тихо звенели — единственный звук в абсолютной тишине зала.

Двадцать шагов.

Пятнадцать.

Десять.

Я остановилась у подножия ступеней. Опустила глаза — как велела Фатима. Смотрела на каменный пол: серый, с прожилками, с крошечной трещиной у моей правой ноги.

Тишина.

Тишина была такой плотной, что я слышала собственное сердце. Бум. Бум. Бум. Девяносто ударов в минуту — тахикардия, норма для стрессовой ситуации, ничего критического, Ковалёва, дыши.

И тогда — голос.

— Подними голову.

Голос был... я не была готова к этому голосу. Я ожидала — грубого, командного, военного. Крика. Лая. Чего-то жёсткого, как камень, из которого была вырублена эта крепость.

Вместо этого — низкий. Ровный. Спокойный, как горная река подо льдом: ты видишь гладкую поверхность, но слышишь — под ней сила. Огромная, сдержанная, контролируемая сила, которая может сорвать мост, если захочет. Но пока — не хочет.

Русский. Чистый, почти без акцента, — только лёгкое, едва уловимое раскатывание «р», как отзвук другого языка.

— Подними голову, — повторил голос. Не приказ. Не просьба. Констатация: ты поднимаешь. Потому что я сказал.

Я подняла.

И увидела.

Мужчина в чёрном. Чёрная черкеска — длинная, приталенная, с серебряными газырями на груди, как патроны. Чёрные сапоги. Чёрный пояс с серебряным набором — кинжал, в ножнах, рукоять потёртая от частого использования. Чёрные волосы — густые, чуть волнистые, до плеч. Чёрная короткая борода, аккуратно подстриженная.

И лицо.

Лицо было — нож. Острое, скуластое, с резкими линиями, с тенями под глазами. Нос — прямой, чуть с горбинкой. Губы — жёсткие, сжатые, как будто они давно забыли, как улыбаться. Шрам — через правую бровь, тонкий, белый, старый, — рассекал лицо наискосок, как трещина на стене, и делал его не уродливым, а... незавершённым. Как будто кто-то рисовал красивый портрет — и в последний момент провёл по нему лезвием.

Но глаза.

Глаза были не чёрные. Не карие. Не тёмные.

Янтарные.

Светлые, почти золотые, с тёмным ободком вокруг радужки, — они горели в полумраке зала, как два уголька. Нет — как два глаза хищника в темноте леса. Волка. Барса. Того самого Чёрного Барса, которым его прозвали.

И эти глаза смотрели на меня.

На меня.

Не через меня. Не мимо. Не сквозь — как смотрел Игорь, когда рядом проходила девушка в бикини. Не оценивающе-равнодушно — как смотрели мужчины в Ростове, скользя взглядом и тут же отворачиваясь, потому что нечего задерживаться.

Он смотрел — в меня. Как будто вскрывал — слой за слоем, платье, кожу, мышцы, кости, — добираясь до чего-то, что было глубже. Или — решая, стоит ли добираться.

Мне стало холодно. Потом — жарко. Потом — снова холодно.

Прячь зубы, Ковалёва. Будь овцой.

Я стояла. Молчала. Смотрела ему в глаза — нет, Фатима сказала «глаза вниз», — я опустила взгляд. На его руки. Они лежали на подлокотниках кресла: большие, сильные, с длинными пальцами. На правой — перстень с чёрным камнем. На левой — шрам, ещё один, от запястья до костяшек. Руки воина. Руки, которые убивали.

Тишина длилась.

Секунду. Две. Пять. Десять.

Вечность.

Он молчал. Я молчала. Зал молчал. Огонь в очаге трещал — и мне казалось, что это единственный звук во вселенной.

Потом он встал.

Он был высоким. Очень высоким — метр восемьдесят пять, может, больше. Худой — нет, не худой. Сухой. Поджарый. Как клинок — ничего лишнего, ни грамма, только мышцы, кости и воля. Он спустился по ступеням — три шага, бесшумных, мягких, как у кошки. Или барса. Да, именно барса.

Он стоял передо мной. Я смотрела ему в подбородок — потому что он был выше на голову, а я стояла с опущенными глазами, и подбородок — аккуратно выбритый, с ямочкой, которая не вязалась со всем остальным его лицом, — был на уровне моих глаз.

— Посмотри на меня, — сказал он. Тихо. Не приказ — разрешение.

Я подняла глаза.

Янтарь. Близко. Так близко, что я видела крапинки — тёмные точки на золотом фоне, как пятна на шкуре того самого барса.

Он смотрел. Я смотрела.

И в его глазах — в этих хищных, холодных, волчьих глазах — я увидела...

Ничего.

Пустоту. Ровную, гладкую, непроницаемую, как замёрзшее озеро. Под ней, может быть, что-то было — глубоко, на дне, подо льдом. Но поверхность была идеально спокойной. Идеально мёртвой.

Глаза человека, который перестал чувствовать. Не потому, что не умел. А потому что — решил не чувствовать. Потому что чувствовать было слишком больно.

Я знала этот взгляд. Я видела его на скорой — у людей, которые потеряли всё. У матери, которая три часа сидела рядом с телом ребёнка и смотрела вот так — в никуда, в пустоту, в ту точку пространства, где боль была настолько огромной, что превращалась в ноль.

Три года. Мёртвая жена. Мёртвый ребёнок.

Чёрный Барс. Тёмный Дом. Мёртвые глаза.

Он отвернулся. Поднялся обратно на ступени. Сел в кресло.

И сказал — ровно, без выражения, как зачитывают приговор:

— Свадьба через месяц. По обычаю.

Повернулся к человеку, стоявшему у стены — пожилому, с седой бородой, видимо, советнику или управляющему.

— Отведи её в женские покои. Пусть мать посмотрит.

Всё.

Аудиенция окончена. Товар осмотрен. Товар — принят.

Я стояла у подножия ступеней, в синем платье с серебряной вышивкой, с рыжими кудрями под белым платком, с сердцем, которое колотилось так, что, наверное, слышал весь зал, — и смотрела в спину мужчине, за которого меня отдали.

Он не обернулся.

Он даже не спросил, как меня зовут.

## Глава 8. Янтарные глаза

**Дарина**

Меня не успели увести.

Я уже развернулась — послушно, как велела Фатима, как подсказывал инстинкт самосохранения, как требовало всё, чему я научилась за четыре дня в этом безумном веке, — когда он заговорил снова.

— Стой.

Одно слово. Тихое, как щелчок курка.

Я замерла. Седобородый, который уже шагнул ко мне, чтобы сопроводить в женские покои, тоже замер — с поднятой ногой, как цапля.

— Повернись.

Я повернулась.

Он сидел в кресле — та же поза, та же чернота одежды, тот же огонь за спиной. Но что-то изменилось. Я не сразу поняла что. А когда поняла — по спине пробежал холодок.

Глаза. Они больше не были пустыми. Там, на дне янтарной радужки, что-то шевельнулось — как рыба под ледяной коркой. Не тепло. Не интерес. Что-то... охотничье.

Он меня рассматривал.

Не мельком, не вскользь — а целенаправленно, методично, так, как мой инструктор по анатомии рассматривал учебный препарат. Сверху вниз. Лицо. Шея. Грудь — задержался. Талия. Бёдра — задержался дольше. Руки. Снова лицо.

Я стояла и горела.

Не от стыда. Нет — стыд я знала, стыд был мне родным, стыд жил во мне двадцать шесть лет, как квартирант, который не платит за аренду, но и не съезжает. Стыд — это когда Игорь отводил глаза. Когда мама вздыхала. Когда зеркало каждое утро показывало мне то, что не вписывалось в рамки.

Это было другое. Этот мужчина — не отводил глаза. Он смотрел. Прямо. В упор. Без извинений. Без смущения. Без тени того мучительного «ну, она красивая, но...», которое я научилась читать на лицах, как врач читает кардиограмму.

Он смотрел — и мне некуда было деться.

— Подойди ближе.

Я сделала шаг. Ноги были ватными, но держали. Фельдшерская закалка — когда тебя трясёт, ты всё равно делаешь то, что нужно.

— Ещё.

Ещё шаг. Я стояла у нижней ступени. Он сидел — и даже сидя был почти вровень со мной.

— Как тебя зовут? — Спросил он.

И я — вот тут я впервые услышала его голос не как звук, а как... инструмент. Он владел голосом так же, как, наверное, владел саблей: точно, экономно, смертоносно. Каждое слово — удар. Каждая пауза — финт. Русский язык в его исполнении звучал иначе, чем я привыкла: чище, твёрже, с едва уловимым перекатом согласных, который выдавал родной горский язык. Но грамматика — идеальная. Лексика — богатая. Этот человек учился у хороших людей.

— Дарья, — сказала я. — Дарья Ивановна Ковалёва.

— Ковалёва, — повторил он, как будто пробуя фамилию на вкус. — Дочь Ивана Ковалёва. Который задолжал мне четыре тысячи рублей серебром и вместо денег привёз дочь.

Не вопрос. Констатация. Сухая, деловая, как бухгалтерская запись. «Дебет — четыре тысячи рублей. Кредит — одна дочь. Баланс сведён».

Что-то внутри меня — что-то горячее, злое, зубастое — шевельнулось. Прячь зубы, Ковалёва. Будь овцой.

— Да, — ответила я.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать три.

Лишние три года я отрезала автоматически — Фатима сказала, что Дарье было двадцать три. Врать в мелочах — это я умела. На скорой иногда приходилось: «Нет, мы не опоздали на двадцать минут, мы были на другом вызове». «Да, конечно, мы сделали всё возможное». Маленькая ложь, которая смазывает шестерёнки.

— Двадцать три, — повторил он. — Образование?

— Читаю. Пишу. Считаю. — Я помолчала. — Немного.

— Немного — считаешь или немного — образование?

Это было... Я моргнула. Это был юмор? Или проверка? Или и то, и другое?

— И то, и другое, — ответила я, прежде чем успела прикусить язык.

Тишина.

Зал — весь зал, все люди вдоль стен — молчал. Но молчание изменилось. Стало... острее. Как будто кто-то натянул струну, которая до этого была расслаблена. Я чувствовала это кожей: десятки взглядов впились в мою спину, и каждый говорил одно и то же — «она что, ответила? Она ему — ответила?!»

Тамирлан смотрел на меня. Янтарные глаза — неподвижные, нечитаемые.

Секунда.

Две.

«Поздравляю, Ковалёва, — подумала я отчётливо. — Ты здесь четыре дня и уже нарушила единственное правило, которое тебе дали. Говорить, пока не спросят. Он спросил — „считаешь или образование“. Ты должна была ответить коротко и скромно. А ты — огрызнулась. На князя. При всех. На человека, который решает, жить тебе или...»

Нет. Прекрати. Не «жить или». Просто — жить. По-другому. В другом месте. С другими последствиями. Но жить.

— Что ещё умеешь? — Спросил он. Тон не изменился. Ни злости, ни раздражения. Как будто мой ответ был... ожидаемым? Или — допустимым.

Что ещё умею. Список длинный, князь. Я умею ставить внутривенные катетеры, проводить сердечно-лёгочную реанимацию, накладывать шины, останавливать артериальные кровотечения, принимать роды в полевых условиях и определять смерть по отсутствию реакции зрачков. Я умею водить «буханку» — плохо, но умею. Готовить рассольник по бабушкиному рецепту. Материться на пяти диалектах русского языка. Съесть торт «Прага» в одиночку за один вечер.

Ничего из этого я сказать не могла.

— Вышивать, — сказала я. — Немного готовить. Вести хозяйство.

Ложь, ложь, ложь. Вышивать я не умела. Готовить — только рассольник и яичницу. Вести хозяйство — в смысле заказывать доставку еды через приложение?

— Языки?

— Русский. Немного... — я запнулась. Что знала Дарья? — ...французский.

Французский — потому что дворянская дочь в восемнадцатом веке должна была знать хотя бы несколько слов. Мой французский ограничивался фразами «je ne sais pas» и «omelette du fromage» — спасибо, мультфильму про Декстера, — но это было лучше, чем ничего.

— Верхом ездить?

— Нет.

Это «нет» вышло слишком быстро. Слишком честно. Слишком — по-даринински. Дарья, тихая послушная дочь купца, сказала бы «к сожалению, не обучена» или просто опустила бы

глаза. Я — ляпнула «нет», как ляпнула бы напарнику, спросившему, умею ли я пилотировать вертолёт.

— Нет? — Он чуть наклонил голову. Этот жест — наклон головы — я уже видела у Фатимы. Вороний жест. Оценивающий. — Дворянская дочь — и не ездит верхом?

— Мой отец не считал это необходимым.

— Твой отец много чего не считал необходимым, — сказал Тамирлан, и в его голосе впервые мелькнуло что-то, кроме ровного спокойствия. Не злость — скорее, сухая констатация чужой некомпетентности. — В том числе — платить долги вовремя.

Удар. Точный. Холодный. В солнечное сплетение.

И вот тут волчица — та, которая пряталась, та, которой велели молчать, та, которую я запихивала поглубже, закрывала на замок, заваливала овечьей шкурой, — эта волчица подняла голову.

И оскалилась.

— Мой отец, — услышала я свой голос, — отдал вам самое ценное, что у него было. Вы можете считать это недостаточной платой. Но не говорите мне, что он не считал вещи необходимыми. Он считал. Слишком многое.

Тишина.

Абсолютная. Звонящая. Такая, в которой слышно, как пламя в очаге лижет дрова.

Я стояла — и понимала, что только что подписала себе если не смертный приговор, то что-то очень близкое. Потому что лица вдоль стен — все, без исключения — были одинаковые: круглые глаза, приоткрытые рты, выражение «она сказала — что?!»

Никто так не говорит с князем.

Никто.

А я — сказала. Потому что я не Дарья. Я — Дарина. Фельдшер, которая шесть лет разговаривала с буйными пациентами, пьяными мужьями и обезумевшими от горя родственниками. Фельдшер, которая однажды сказала вооружённому ножом наркоману: «Положи нож и дай мне руку, или ты истечёшь кровью, и мне придётся заполнять на тебя три бланка вместо одного, а я ненавижу бумажную работу». Наркоман положил нож.

Но Тамирлан Кара-Даг не был наркоманом.

Он был — тишина. Пауза. Натянутая струна.

Он смотрел на меня — и я видела, как янтарные глаза менялись. Не теплели — нет. Но лёд на поверхности дал трещину, и что-то мелькнуло в глубине. Быстро, как тень рыбы. Интерес? Удивление? Опасность?

Всё вместе.

Он встал. Медленно, без суеты. Спустился по ступеням — раз, два, три. Стоял передо мной — близко, слишком близко, я чувствовала тепло его тела и запах — кожа, сандал, что-то дымное, мужское, древнее.

Он был выше меня на голову. Я смотрела ему в подбородок — в ту самую ямочку, которая не вязалась с остальным лицом, — и ждала.

— Посмотри на меня, — сказал он. В третий раз.

Я подняла глаза.

Янтарь. Близко. Очень близко. Зрачки — расширенные, чёрные на золотом. Шрам через бровь — белая линия на смуглой коже. Ресницы — густые, чёрные, неприлично длинные для мужчины.

Он смотрел.

И я вдруг поняла, что он делает. Не оценивает. Не осматривает. Не решает, годна ли я в жёны. Он — ищет. Что-то ищет в моём лице, в моих глазах, за моими глазами. Ищет — и не находит. Или — находит, но не то, что ожидал.

— У неё есть характер, — сказал он.

Не мне. Залу. Всем, кто стоял вдоль стен и забыл дышать.

— Хорошо.

Пауза.

— Слабые в Тёмном Доме не выживают.

Он отвернулся. Два шага к ступеням. Один — вверх.

И остановился. Не оборачиваясь.

— Свадьба через месяц. По обычаю. — Пауза. — Фатима.

Старуха — я не видела, когда она вошла, — материализовалась у двери, как тень.

— Здесь, мой князь.

— Она больна?

— Была. Лихорадка. Сейчас здорова.

— Точно?

— Я за неё ручаюсь.

— Ты ручаешься за русскую, которую знаешь три дня?

— Я ручаюсь за женщину, которая выжила. В Тёмном Доме это стоит больше знакомства.

Тамирлан повернул голову — не ко мне, к Фатиме. И — на секунду, на одну мимолётную секунду — я увидела его профиль в свете огня. Резкий, как лезвие. Красивый — болезненно, безнадёжно, опасно красивый.

— Хорошо, — сказал он. — Пусть мать посмотрит. Если Айшат одобрит — готовьте свадьбу.

Он сел в кресло. Положил руки на подлокотники. Стал — снова — чёрным силуэтом на фоне пламени.

— Уведите её.

## Глава 9. Глаза в глаза

**Дарина**

Меня вывели из зала.

Фатима шла рядом — молчала. Молчала так выразительно, что её молчание было громче любого крика.

Мы прошли коридор. Свернули за угол. Ещё один коридор. Лестница. Ещё коридор.

Фатима остановилась. Повернулась ко мне. И — я увидела её лицо.

— Ты, — сказала она, — безумная.

— Я знаю.

— Ты огрызнулась на князя. При людях. В большом зале. На смотрах.

— Я знаю.

— Ты — дура.

— Это тоже знаю.

— Он мог... — Фатима замолчала. Потом — выдохнула. Длинно. Как сдувающийся шар.

— Он мог отказать. Мог отослать тебя. Мог... — она не закончила.

— Но не отказал, — тихо сказала я.

Фатима посмотрела на меня. Долго. Потом — медленно, неохотно, как будто ей было физически больно это признавать — кивнула.

— Не отказал.

— Почему?

Пауза.

— Потому что ты — первая за три года, кто посмотрел ему в глаза и не отвёл взгляд.

Я прислонилась к стене. Камень был холодный. Хорошо. Мне нужен был холод, потому что внутри всё горело.

Колени тряслись.

Я заметила это только сейчас — когда остановилась, когда адреналин начал схлынывать, когда тело, которое четыре минуты назад держалось на чистом упрямстве и фельдшерской привычке не падать, — решило, что можно, наконец, развалиться.

Колени тряслись. Руки тряслись. Губы — наверное, тоже, но я не чувствовала лица.

— Дочка, — Фатима тронула меня за локоть. — Сядь. Вот, сюда, на ступеньку. Дыши.

Я села. На каменную ступеньку в каменном коридоре каменной крепости. Обхватила себя руками. Дышала.

Вдох — два-три-четыре.

Выдох — два-три-четыре.

Не помогало.

Потому что тряслись колени не от страха. Нет. Страх я знала — близко, интимно, как старого знакомого. Страх был привычный, управляемый. Я боялась на каждом ночном дежурстве — и всё равно ехала. Боялась каждый раз, когда входила в квартиру, где кричали. Боялась — и делала.

Это был не страх.

Это было — другое.

Он смотрел на меня. Тамирлан. Чёрный Барс. Он смотрел — не через, не мимо, не сквозь. НА МЕНЯ. На мои плечи. На мою грудь. На мои бёдра. На моё лицо — веснушки, кудри, зелёные глаза, всё, за что Игорю было стыдно.

И в его взгляде — в этих янтарных, волчьих, холодных глазах — не было стыда.

Не было отвращения.

Не было жалости.

Не было «ты красивая, но...»

В его взгляде было — голод.

Голод. Тёмный, контролируемый, запёртый на десять замков, — но голод. Я видела. Я — фельдшер, я читаю тела и лица, как другие читают книги. Расширенные зрачки — не от темноты, от эмоции. Напряжённая челюсть. Рука на подлокотнике — пальцы сжались на секунду, когда он смотрел на мою талию. На мою талию, которая в Ростове не существовала, потому что её заслоняли «проблемные зоны», а здесь — подчёркнутая тканым поясом — была.

Он не смотрел на меня как на товар.

Он смотрел на меня как мужчина смотрит на женщину.

На меня.

На пятьдесят четвёртый размер.

На «кита на пляже».

На «девушку, за которую стыдно».

Как. Мужчина. Смотрит. На женщину.

— Дочка, — Фатима присела рядом. — Ты плачешь.

Я тронула щёку. Мокрая. Надо же.

— Нет, — сказала я. — Не плачу. Просто... аллергия. На восемнадцатый век.

Фатима хмыкнула. Достала из кармана тряпку — не тряпку, платок, грубый, полотняный — и сунула мне в руку.

— Вытри. И вставай. Нас ждёт Айшат.

— Кто?

— Мать князя. Если она одобрит — быть свадьбе. Если нет...

— Если нет — я пойду на все четыре стороны?

— Если нет — тебе лучше не знать.

Прекрасно. Просто прекрасно. Из огня — в полымя. Из волчьего логова — в змеиное гнездо. Из-под взгляда сына — под взгляд матери.

Я встала. Вытерла лицо. Одёрнула платье.

— Пошли.

Фатима посмотрела на меня — снизу вверх, маленькая, чёрная, вечная.

— Ты точно безумная, — сказала она.

— Я знаю, — ответила я. — Это мой единственный талант.

И мы пошли.

А колени — колени продолжали трястись. Всю дорогу по каменным коридорам Тёмного Дома, мимо факелов и ковров, мимо слуг, которые прижимались к стенам, мимо окон, за которыми стояли горы, — колени тряслись.

Не от страха.

От того, что я впервые в жизни увидела в мужских глазах — голод. По мне. По моему телу. По мне — такой, какая я есть.

И это было страшнее любого страха.

Потому что к страху я привыкла.

А к этому — нет.

## Глава 10. Правила чужого мира

### Дарина

Женская половина Тёмного Дома пахла иначе.

Мужская — камень, дым, железо, кожа. Женская — специи, шерсть, розовая вода и что-то сладковатое, тёплое, домашнее. Как будто кто-то взял крепость — суровую, военную, каменную — и в одном её крыле устроил гнездо. Мягкое, яркое, живое.

Коридор из главной части крепости вёл через тяжёлую дверь — не запертую, но охраняемую: у порога стоял немолодой воин с саблей и лицом человека, который видел всё и не собирался обсуждать увиденное. Фатима кивнула ему, он кивнул в ответ. Мы вошли.

И мир изменился.

Ковры. Повсюду ковры — на стенах, на полу, на лавках вдоль стен. Красные, синие, зелёные, с геометрическими узорами, с цветами, с птицами. Подушки — горы подушек, расши-  
тых бисером и шёлком. Занавески на окнах — не промасленная ткань, как в мужской части, а настоящая, тонкая, пропускающая свет. Воздух был тёплый — здесь топили щедрее. И — запахи: розовая вода, кардамон, корица, мёд, свежий хлеб, женский пот и что-то ещё, чему я не знала названия, но что безошибочно говорило: здесь живут женщины.

— Жди, — сказала Фатима и исчезла за очередной занавеской.

Я осталась стоять в коридорчике — маленьком, с низким потолком, освещённом масляной лампой в нише. На стене висело зеркало — серебряное, начищенное до блеска, гораздо лучше того обломка, который давала мне Фатима. Я посмотрела на своё отражение.

Женщина. Бледная, рыжая, в синем платье, с испуганными зелёными глазами.

«Держись, Ковалёва, — сказала я отражению. — Ты пережила Игоря, пережила ночные дежурства и шаурму с золотозубым на вокзале. Переживёшь и свекровь».

Отражение не выглядело убеждённым.

Занавеска отдёрнулась.

— Заходи, — буркнула Фатима.

Комната Айшат была — царство.

Не роскошное, не золотое. Но — царство. Комната, в которой каждый предмет был на своём месте, каждый ковёр — выбран не случайно, каждая подушка — положена с умыслом. Здесь пахло властью. Не мужской властью — саблями и приказами, — а женской. Тихой, неподвижной, как камень, на котором стоит дом.

Айшат сидела на низком топчане, застеленном коврами, — прямая, неподвижная, как статуя. Ей было, наверное, лет пятьдесят — но из тех пятидесяти, которые выглядят на тридцать пять и на семьдесят одновременно. Лицо — красивое, жёсткое, с теми же скулами, что у Тамирлана, но смягчёнными женской плотью. Глаза — не янтарные, а чёрные, глубокие, как колодцы. Волосы — спрятаны под тёмным платком, но я видела, что он из хорошей ткани, с золотым шитьём по краю. Платье — тёмно-бордовое, строгое, с серебряным поясом, на котором висела связка ключей.

Ключи. Хозяйка дома.

— Подойди, — сказала Айшат.

Голос был — Тамирланов. Та же сталь, та же привычка к повиновению. Только выше — и с лёгкой хрипотцой, как у человека, который много кричал в молодости и повредил связки.

Или — много плакал.

Я подошла. Остановилась в трёх шагах. Опустила глаза — не потому что Фатима велела, а потому что взгляд Айшат был как рентген. Он проходил сквозь платье, сквозь кожу, сквозь мышцы, сквозь кости — и видел... что? Что видела мать, выбирающая жену для сына?

— Повернись.

Я повернулась. Медленно, на месте, давая ей осмотреть себя со всех сторон.

— Ещё раз.

Ещё раз.

— Стой. Лицом ко мне.

Я остановилась. Стояла и ждала.

Айшат смотрела. Молча. Долго. Без единого движения — только глаза, чёрные и неумолимые, скользили по моему лицу, по фигуре, по рукам, по ногам.

Потом встала. Подошла — быстро, легко, как будто ей не пятьдесят, а двадцать. Взяла меня за подбородок — жёсткие пальцы, холодные кольца на пальцах, — и повернула моё лицо вправо. Влево. Прямо. Осмотрела зубы — я чуть не прикусила ей палец, так это было неожиданно. Потом — руки: перевернула ладонями вверх, посмотрела на кожу, на ногти. Потом — плечи, нажала, проверяя что-то. Потом — талию.

— Дыши, — скомандовала.

Я вдохнула. Она положила ладонь мне на живот — плоско, широко, как врач при пальпации. Я чуть не рассмеялась от абсурда: одни и те же движения, только без латексных перчаток и стетоскопа.

Потом — бёдра. Она положила руки мне на бёдра — обе ладони, как будто измеряя ширину. Нажала. Отпустила. Кивнула.

— Широкие, — сказала. Не мне — Фатиме, которая стояла у двери. — Хорошо.

Хорошо.

Опять это... Широкие бёдра — хорошо.

Я стояла посреди комнаты, ощупанная, осмотренная, оценённая — и слушала, как женщина, которую я знала три минуты, с одобрением обсуждала мои бёдра.

— Грудь, — Айшат посмотрела — вниз, туда, где вышивка на платье натягивалась. — Полная. Молока будет много.

Молока. МОЛОКА.

Меня обсуждали как дойную корову. Или — как племенную кобылу. Бёдра — для родов. Грудь — для молока. Живот — мягкий, значит, здоровый. Руки — сильные, значит, работающая.

И — никакого стыда. Ни у неё, ни у Фатимы, ни у двух молодых женщин, которые стояли у стены и наблюдали за процессом с выражением «ну что, берём?»

Никакого стыда.

В двадцать первом веке я не могла зайти в примерочную без приступа тревоги. Не могла раздеться перед Игорем без предварительного выключения света. Не могла взвеситься, не зажмурившись.

А здесь — чужая женщина трогала мои бёдра и говорила «хорошо», и это было нормально, и никому не приходило в голову, что в этом есть что-то унижительное. Потому что — не было. Для них — не было. Тело было телом. Инструментом. Божьим даром. Не объектом стыда — объектом гордости.

Культурный шок. Только наоборот.

— Кость хорошая, — подытожила Айшат, вернувшись на свой топчан. — Крепкая. Здоровая. Сыновья будут сильные.

Она посмотрела на меня — впервые не как на товар, а как на человека. Или — на потенциального члена семьи. Что, впрочем, здесь могло быть одним и тем же.

— Как звать?

— Дарья.

— Дарья, — повторила она, перекатывая имя, как камешек. — Русское имя. Некрасивое. Будем звать Дари. Короче, удобнее.

Спасибо, Айшат. Очень мило.

— Ты боишься? — Спросила она вдруг.

— Нет, — ответила я.

Она усмехнулась. Первая эмоция на этом каменном лице — и она была неожиданно тёплой. Не доброй — нет. Тёплой, как угли в очаге: жар есть, но, если сунешь руку — обожжёшься.

— Врёшь. Но хорошо врёшь. Это полезно.

Она хлопнула в ладоши.

— Хадижа!

Хадижа ворвалась — именно ворвалась, а не вошла. Как ураган. Как маленький пёстрый смерч в шёлковом платке и с глазами размером с блюдо.

Ей было лет семнадцать — может, шестнадцать. Маленькая, тоненькая, с острым лисьим личиком и руками, которые ни секунды не были в покое: теребили платок, поправляли волосы, трогали пояс, ловили край рукава. Глаза — карие, огромные, в пол-лица — смотрели на меня с таким восторженным любопытством, как будто я была экзотическим животным в зоопарке.

— Хадижа будет твоей служанкой, — сказала Айшат. — Она покажет дом, поможет с одеждой и обычаями. Она... — пауза, взгляд на Хадижу, — много говорит. Слишком много. Но она преданная. И честная. Если она скажет, что кто-то замышляет дурное — верь ей. Если скажет, что небо зелёное — проверь.

— Госпожа! — Пискнула Хадижа, обиженно, но без настоящей обиды.

— Иди, — Айшат махнула рукой. — Покажи ей комнаты. Накорми. Расскажи... — ещё одна пауза, — что можно рассказать. Остальное — не твоё дело.

— Да, госпожа! — Хадижа схватила меня за руку — цепкие, горячие пальчики — и потащила к двери.

— Дари, — голос Айшат остановил нас на пороге.

Я обернулась.

Мать Тамирлана сидела на своём топчане — прямая, неподвижная, как горный хребет.

— Мой сын, — сказала она медленно, — три года не смотрел на женщину. На любую женщину. Сегодня — он смотрел на тебя.

Пауза.

— Не разочаруй меня.

Комнаты — мои новые комнаты, не та каморка, где я очнулась у Фатимы, — были на удивление... не ужасны.

Две комнаты: спальня и что-то вроде гостиной. Спальня — с настоящей кроватью (низкой, деревянной, но с настоящим матрасом из шерсти), с сундуком для вещей, с ковром на стене и на полу, с окном — не бойницей, а окном, пусть и узким, с деревянными ставнями. Гостиная — с топчаном, подушками, маленьким столиком и — о чудо — зеркалом. Серебряным, мутным, но большим — в полный рост.

— Здесь жила... — Хадижа осеклась. Закусила губу.

— Зарина? — Спросила я тихо.

Хадижа побледнела. Потом кивнула — быстро, мелко, как птица.

— Не говори это имя, — прошептала она. — Пожалуйста. Госпожа Айшат не любит, когда...

— Хорошо. Не буду.

Я стояла посреди комнаты мёртвой женщины и думала о том, что вселенная — большая любительница чёрного юмора. Меня поселили в комнатах первой жены — той, что прыгнула со скалы с младенцем на руках. Уютно.

— Хадижа.

— Да, госпожа!

— Не называй меня госпожой. Зови... — я замялась. — Дари. Как Айшат сказала.

Хадижа округлила глаза.

— Нельзя! Вы — невеста князя! Я — служанка! Нельзя по имени!

— Когда мы одни — можно. Когда при людях — как хочешь.

Она смотрела на меня, как на сумасшедшую. Потом — расплылась в улыбке. Широкой, солнечной, от которой острое лисье личико стало вдруг очень красивым.

— Хорошо... Дари.

Хадижа говорила. Много. Безостановочно. Как радио, которое кто-то забыл выключить. Она говорила, пока вела меня по женской половине — показывая кухню (огромную, дымную, где три женщины одновременно раскатывали тесто, месили что-то в котлах и ругались на языке, которого я не знала). Говорила, пока показывала прачечную — каменный чан с горячей водой, деревянное корыто, бельё на верёвках. Говорила, пока показывала сад — маленький, в закрытом дворике, с чахлыми фруктовыми деревьями и клумбой лекарственных трав.

Я слушала. Впитывала. Запоминала.

Правило первое: женщины не выходят за пределы крепости без мужского сопровождения. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже Айшат, мать князя, хозяйка дома.

Правило второе: женщины не едят вместе с мужчинами. Кроме праздников и особых случаев.

Правило третье: женщины не разговаривают с чужими мужчинами. «Чужие» — все, кроме мужа, отца, сына, брата мужа. Даже с ними — не всегда.

Правило четвёртое: невеста не видит жениха до свадьбы. То есть — больше не видит. Сегодняшние смотрины были исключением, потому что я — чужестранка, и князь хотел убедиться. Следующая встреча — в день свадьбы.

Месяц. Целый месяц без «янтарных глаз».

Я поймала себя на мысли, что это меня расстроило, и мысленно дала себе подзатыльник.

— А Лейла? — спросила я, когда Хадижа на секунду замолчала, чтобы набрать воздуха. — Айшат упоминала...

— Лейла-ханум! Сестра князя! О, она... — Хадижа закатила глаза. — Она — особенная.

— В каком смысле?

— Во всех. Ей пятнадцать. Она должна быть скромной, тихой, послушной. А она... — Хадижа понизила голос, — она ездит верхом лучше половины мужчин. Она стреляет из лука. Она спорит с матерью. Она один раз... — Хадижа оглянулась, убедилась, что никого нет, — один раз подрезала волосы мальчишке, который сказал, что девочки не могут драться. Подрезала. Кинжалом. Мальчишке было двенадцать, он ревел как телок.

Я представила пятнадцатилетнюю девочку с кинжалом — и мне стало легче. Впервые за четыре дня — по-настоящему легче. Здесь был кто-то, кто нарушал правила. Значит — правила можно было нарушить.

— Я хочу с ней познакомиться.

— О, она сама придёт. Поверь мне. Она уже... — стук в дверь. Хадижа ойкнула. — Вот. Дверь распахнулась — без стука, без разрешения, без церемоний.

Лейла Кара-Даг стояла на пороге — и была всем, что обещала Хадижа.

Пятнадцать лет. Тонкая, угловатая, ещё не выросшая из подростковой нескладности, но уже с намёком на будущую красоту. Лицо — Тамирланово, только мягче, круглее, без шрамов. Те же скулы, тот же прямой нос, та же линия челюсти. Глаза — не янтарные, как у брата, а чёрные, как у матери, но с тем же выражением: «Я знаю, чего хочу, и попробуйте мне помешать». Волосы — чёрные, заплетённые в косу, из которой выбивались пряди. Платье — тёмно-зелёное, с пятном на подоле, похожим на грязь. Или конский навоз.

Она стояла, уперев руки в бока, и смотрела на меня — снизу вверх, потому что была на голову ниже — с выражением, которое я классифицировала бы как «научный интерес, помноженный на подростковую дерзость».

— Так это ты, — сказала она.

Русский — чистый, без акцента. Или — с лёгким, совсем лёгким, как у брата.

— Это я, — подтвердила я.

— Русская.

— Русская.

— Невеста Тамирлана.

— Так говорят.

Лейла наклонила голову. Вороний жест — семейный, видимо.

— Правда, что ты огрызнулась на него? В большом зале? При всех?

Хадижа за моей спиной ахнула и зашуршала — видимо, пыталась стать невидимой.

— Кто рассказал? — Спросила я.

— Все, — Лейла расплылась в улыбке. — Весь дом. Половина аула. К вечеру будет знать всё ущелье. Ты — первая, кто посмел ответить ему за три года. Последним был Аслан, его начальник стражи, и то — по пьяни.

Она вошла — без приглашения. Уселась на топчан — без спроса. Вытянула ноги — в сапогах, забрызганных той самой грязью.

— Расскажи, — потребовала она. — Что сказала? Что он ответил? Какое у него было лицо?

Я села рядом. Посмотрела на неё — на эту пятнадцатилетнюю девочку с глазами воина и грязью на подоле — и почувствовала что-то, чего не чувствовала с тех пор, как попала сюда. Тепло. Не от очага, не от ковра — от человека. Живое, непосредственное, бесхитростное тепло.

— Он спросил, что я умею. Я ответила — немного считать. Он спросил — немного считая или немного образования. Я сказала — и то, и другое.

Лейла запрокинула голову и захохотала.

Не засмеялась — захохотала. Громко, от души, так, что Хадижа испуганно зашикала: «Тише, госпожа, тише, Айшат-ханум услышит!»

— Он спросил — и ты ответила! — Лейла вытирала глаза. — О Аллах! Он же никогда... он же привык, что все молчат и кивают. А ты...

— А я — дура, — вставила я.

— Ты — замечательная, — отрезала Лейла. — Мне говорили, что русские девушки все тихие и покорные. Мне ввали?

— Тебе ввали.

— Отлично. Я терпеть не могу тихих и покорных.

Она сказала это с такой яростью, что я поняла: речь не только обо мне. Речь — о ней самой. О девочке, которая ездила верхом лучше мальчишек, стреляла из лука и резала косы. О девочке, от которой ждали тишины и покорности, — а она была чем угодно, но не этим.

Родственная душа. Через два с половиной века.

К вечеру я знала о Тёмном Доме больше, чем за предыдущие четыре дня.

Хадижа была энциклопедией — бессистемной, восторженной, перескакивающей с темы на тему, как белка с ветки на ветку, — но энциклопедией. Лейла была комментатором — язвительным, точным, безжалостным.

Вместе они рисовали картину.

Тёмный Дом — не просто крепость. Это был мир. Замкнутый, самодостаточный, со своими законами, иерархией и ритуалами. Внизу — слуги, конюхи, кузнецы. Выше — воины, стражники, охотники. Ещё выше — приближённые князя, старейшины, советники. На вершине — семья Кара-Дагов: Айшат, Тамирлан, Лейла.

И — я. Где-то между «приближёнными» и «семьёй». Невеста. Ещё не жена, уже не чужая. Подвешенная, как мост между двумя берегами — ни туда, ни сюда.

— А брат Тамирлана? — Спросила я, вспомнив обрывок из разговора с Фатимой. — Керим?

Лейла скривилась. Хадижа потупилась.

— Керим — младший, — сказала Лейла, и в её голосе было столько презрения, сколько может вместить пятнадцатилетняя девочка. То есть — примерно как ведро. — Он живёт не здесь. В ауле, в долине. Пьёт. Играет. Ездит на охоту. Ни на что не годен.

— Лейла-ханум, — осторожно вставила Хадижа, — может, не стоит...

— Он мой брат, и я могу говорить о нём что хочу, — отрезала Лейла. — Он — позор семьи. Тамирлан терпит его, потому что мать просит. Но если бы не мать...

Она замолчала. Тема была болезненной, я чувствовала.

— Ладно, — сказала я. — А Сулима?

Тишина. Другая тишина — не задумчивая, а настороженная. Как перед выстрелом.

— Кто тебе рассказал про Сулиму? — Спросила Лейла.

— Никто. Я слышала имя. В коридоре. Кто она?

Лейла и Хадижа переглянулись. Быстрый, молниеносный обмен взглядами, в котором было больше информации, чем в десяти минутах разговора.

— Сулима — двоюродная сестра Тамирлана, — сказала Лейла. Голос стал ровным, осторожным. — Она... красивая. Очень красивая. И очень умная. И она три года ждала, что Тамирлан возьмёт её в жёны.

— А он?

— А он взял тебя.

Пауза.

— Она — здесь? В крепости?

— Она — везде, — тихо сказала Хадижа, и в её голосе было что-то, от чего мне стало неуютно. — Как тень. Как запах дыма. Везде.

Прекрасно. У меня не только мёртвая предшественница и свекровь-рентген. У меня ещё и соперница — красивая, умная, обиженная. Полный комплект.

— Ладно, — я потёрла лицо. — Хватит на сегодня. Мне нужно поспать. У меня был... длинный день.

Длинный день. Длинный век. Длинная жизнь.

Лейла поднялась, отряхнула подол — навоз на ковёр, Айшат бы в обморок упала — и подошла ко мне. Посмотрела снизу вверх. Чёрные глаза — серьёзные, без обычной дерзости.

— Дари.

— Да?

— Ты ему понравилась. Я знаю моего брата. Он... он не так посмотрел. Не как на остальных. Не как на мебель. Он тебя — увидел.

Она сказала «увидел» — и в этом слове было столько, что мне снова стало трудно дышать.

— Спокойной ночи, — Лейла улыбнулась — быстро, одними губами — и вышла.

Хадижа осталась. Помогла мне переодеться — в ночную рубаху, длинную, мягкую, пахнущую лавандой. Расплела волосы. Задула масляную лампу.

— Спи, госп... Дари. Завтра — новый день.

— Хадижа.

— Да?

— Спасибо.

— За что?

— За то, что ты есть.

Хадижа моргнула. Потом — расплылась в своей солнечной улыбке, которая освещала даже темноту.

— Спи, — шепнула она и ушла.

Я не спала.

Лежала в темноте, на кровати мёртвой женщины, под ковром, который, может быть, укрывал её, и слушала тишину Тёмного Дома.

Тишина была обманчивой. Как и всё здесь. Снаружи — молчание, камень, неподвижность. Внутри — жизнь, кипящая, бурлящая, опасная.

Тамирлан. Айшат. Лейла. Сулима. Керим. Фатима. Хадижа.

Шахматная доска. Я — новая фигура. Пешка? Или — кто-то посильнее? Зависело от меня. Только от меня.

«Ладно, — подумала я, закрывая глаза. — Завтра начну учиться. Язык, обычаи, иерархия. Кто с кем дружит, кто кого ненавидит, кто кому должен. Информация — это власть. Даже в восемнадцатом веке. Особенно — в восемнадцатом веке».

Я уже почти провалилась в сон, когда — услышала.

Звук.

Не из моей комнаты. Не с женской половины. Откуда-то из глубины крепости — изда- лека, из-за стен, из-за коридоров. Глухой, низкий, на грани слышимости. Как стон. Или — как скрип. Или — как плач. Что-то среднее между человеческим голосом и звуком, который издаёт ветер, пробираясь через щели в камне.

Я села. Прислушалась.

Снова. Тот же звук. Длинный, тянущий, от которого по спине побежали мурашки — не от холода, а от чего-то первобытного, инстинктивного. Так кричат во сне. Так плачут, когда думают, что никто не слышит. Так — стонут камни.

— Хадижа, — позвала я шёпотом.

Она спала в соседней комнате — на подстилке у двери, как и полагалось служанке. Шёпот разбудил её мгновенно: она была из тех людей, которые спят чутко, как кошки.

— Дари? Что? — Она появилась в дверях, сонная, с распущенными волосами.

— Слышишь?

Хадижа замерла. Прислушалась. Звук повторился — далёкий, глухой, тоскливый.

Она побледнела.

Я видела это даже в темноте — по тому, как изменилось её лицо. Как глаза стали больше. Как руки вцепились в дверной косяк.

— Что это? — Спросила я.

— Ничего, — сказала Хадижа. Слишком быстро. Слишком высоко. — Ветер. Горный ветер. Он всегда так гудит в старых стенах. Спи.

— Хадижа.

— Спи, Дари. Пожалуйста.

— Это не ветер. Я — медик. Я знаю, как звучит человеческий голос. Это — не ветер.

Хадижа молчала. Стояла в дверях, маленькая, босая, в ночной рубашке, — и молчала. А потом — прошептала. Так тихо, что я скорее прочитала по губам, чем услышала.

— Не ходи туда.

— Куда — туда?

— Закрытое крыло. Восточная башня. Там... — она сглотнула. — Там никто не ходит. Князь запретил. Давно. С тех пор, как...

Она не закончила.

— С тех пор, как — что?

Хадижа посмотрела на меня. Глаза — огромные, тёмные, полные того самого первобыт- ного страха, который я чувствовала по мурашкам на спине.

— Не ходи туда, Дари, — прошептала она. — Пожалуйста. Там живёт проклятие Кара- Дагов.

Звук повторился — далёкий, глухой, тоскливый. Как плач ребёнка, которого некому уте- шить.

Я лежала в темноте и слушала, как проклятие Тёмного Дома стонет за каменными стенами.

И думала: «Ковалёва, если ты переживёшь этот месяц — ты переживёшь всё что угодно».

За окном горы стояли чёрными стражами. Звёзды горели. Ветер — или не ветер — плакал в камнях.

А в моих комнатах — в комнатах мёртвой женщины — было тихо.

Пока.

## Глава 11. Фельдшер поневоле

**Дарина**

Прошла неделя.

Семь дней в восемнадцатом веке — и я уже начала привыкать. Не к отсутствию электричества, горячей воды и антибиотиков — к этому привыкнуть невозможно, как невозможно привыкнуть к отсутствию воздуха. Но к ритму. К звукам. К запахам. К тому, что день начинается не с будильника, а с крика петуха. Что вместо кофе — травяной отвар, горький, как измена. Что вместо новостной ленты — Хадижа, которая за десять минут пересказывала все сплетни крепости с детальностью, которой позавидовал бы любой телеграм-канал.

Я учила язык. Горский — тяжёлый, гортанный, с согласными, которые рождались где-то в глубине горла и выходили наружу, как камни из катапульты. Хадижа учила меня словам — бытовым, простым: «хлеб», «вода», «спасибо», «да», «нет», «где», «пожалуйста, не трогай мои волосы, они и так пострадали достаточно». Последнее — длинно, но Хадижа божилась, что в горском для этого есть одно слово.

Лейла учила меня обычаям. Вернее — учила, какие обычаи можно нарушить, а какие — нет. «Это — можно, только не при матери. Это — нельзя вообще. Это — можно, если никто не видит. А это...» — она задумывалась, — «...это зависит от того, насколько тебе дорога голова».

Фатима приходила каждый вечер. Молча. Садилась у моего очага, помешивала свои вечные отвары, бросала на меня взгляды-угольки. Иногда говорила — коротко, ёмко, как притчу: «Змея молчит, пока не укусит. Молчи и ты. Пока». Потом уходила.

Тамирлана я не видела. Ни разу. Правило — невеста не видит жениха до свадьбы — соблюдалось неукоснительно. Он был где-то там, в мужской части крепости, за стенами, за дверями, за каменными коридорами. Иногда я слышала его голос — далёкий, неразборчивый, отдающий приказы во дворе. Иногда видела из окна его фигуру — чёрную, на чёрном коне, выезжающую из ворот. Но — не видела. Не говорила. Не...

Не думала о янтарных глазах.

Врала себе, конечно. Думала. Каждую ночь. Лёжа на кровати его мёртвой жены, под ковром, который, может быть, укрывал её, я думала о том, как он смотрел. О голоде в глазах. О ямочке на подбородке, которая не вязалась с лицом-кинжалом.

Думала — и злилась на себя. Потому что какая, к чёрту, разница, как он смотрел? Я была здесь не по своей воле. Я — попаданка, заложница времени, пешка в чужой игре. Мне нужно было найти дорогу домой, а не фантазировать о мужчине, который купил меня за четыре тысячи рублей серебром.

Но глаза... Янтарные, с чёрным ободком, с тёмной глубиной, с трещиной в ледяной поверхности...

Хватит, Ковалёва.

Крик я услышала на восьмой день.

Утро. Я сидела в своей комнате и пыталась вышивать — Хадижа притащила пальцы, нитки и образец узора, и я добросовестно тыкала иглой в ткань, создавая нечто, что Хадижа дипломатично назвала «необычным», а Лейла — «следами борьбы с пауком».

Крик — детский, высокий, захлёбывающийся — ворвался через окно, как камень через стекло. Острый. Болезненный. Такой, от которого внутри всё сжимается — не от испуга, а от рефлекса. Шесть лет на скорой — и тело реагирует раньше мозга.

Я встала. Пальцы полетели на пол. Хадижа ойкнула.

— Что?..

Я уже шла к двери. К окну. Нет — к двери. Нет — сначала к окну, чтобы понять, откуда крик.

Двор. Внизу. У конюшни.

Я перегнулась через подоконник. Во дворе — суeta, люди бегут, сбиваются в кучу. В центре — на каменных плитах — ребёнок. Мальчик. Лет семь-восемь. Лежит на спине, правая рука — под неестественным углом. Кричит — уже не криком, а тем воющим стоном, который бывает, когда голос срывается от боли.

Рядом — лошадь. Вороная, нервная, бьёт копытом. Конюх держит её за повод, ругается. Видимо — мальчик упал. Или лошадь его скинула. Или...

Детали были неважны. Важно было одно: рука.

Я видела отсюда — с высоты второго этажа, через узкое окно, — но видела достаточно. Предплечье деформировано, ось конечности нарушена, угол — градусов тридцать-сорок. Закрытый перелом — кожа цела, крови нет. Скорее всего — перелом обеих костей предплечья, лучевой и локтевой. Типичная травма при падении с лошади на вытянутую руку.

Мальчик кричал.

— Дари, нельзя! — Хадижа схватила меня за рукав. — Это мужской двор, женщинам нельзя...

Я не слушала. Я уже бежала по коридору — босиком по каменным плитам, задрав подол платья, как деревенская баба. Мимо кухни, мимо прачечной, мимо охранника у двери, который открыл рот и не успел его закрыть, — вниз по лестнице, через переход, ещё одна лестница, коридор, дверь.

Двор.

Солнце ударило в лицо. Запах — навоз, пот, горячее железо из кузницы. Люди — раступились, когда я пробежала мимо, с лицами, на которых удивление сменялось шоком. Женщина. На мужском дворе. Бежит.

Мне было плевать.

Мальчик лежал на камнях. Вокруг него — четверо мужчин. Один — конюх, бледный, трясущийся: видимо, отец. Двое — воины, бесполезно стоящие с выражением «ну и что делать?». Четвёртый...

Четвёртый был лекарь.

Нурали. Я слышала о нём от Хадижи — местный лекарь, мужчина лет пятидесяти, сухой, с козлиной бородкой и глазами, в которых столько самодовольства, сколько не помещается в одном человеке. Он лечил травами и заговорами, пускал кровь при любой болезни — от головной боли до перелома — и свято верил, что женщина в медицине разбирается примерно так же, как курица — в навигации.

Нурали стоял над мальчиком и говорил — быстро, деловито, на горском. Я не понимала слов, но поняла жест: он показал на руку мальчика, потом — провёл ребром ладони поперёк предплечья. Поперёк.

Отрезать.

Он хотел ампутировать.

Конюх — отец — побелел. Потом — позеленел. Потом — кивнул. Медленно, обречённо, как человек, которому сказали, что солнце больше не взойдёт, и он поверил, потому что сказал тот, кому положено знать.

— Нет! — Сказала я.

Громко. Чётко. По-русски.

Все повернулись.

Нурали уставился на меня. Конюх уставился. Воины уставились. Мальчик — он тоже уставился, на секунду забыв кричать, и в его глазах, мокрых от слёз, промелькнуло что-то похожее на надежду.

— Нет, — повторила я. Тише. Спокойнее. Голосом, которым говорила с буйными пациентами на скорой: ровным, уверенным, не терпящим возражений. — Не отрезать. Перелом закрытый. Руку можно спасти.

Нурали сказал что-то — быстро, на горском, с интонацией оскорблённого достоинства. Я не поняла слов, но тон был универсален: «Кто ты такая и какого чёрта?»

— Я знаю, что делаю, — сказала я. И — присела рядом с мальчиком.

Он смотрел на меня — снизу вверх, огромными чёрными глазами, полными боли и страха. Худенький, смуглый, с цыплячьей шеей и ободранными коленками. Ребёнок. Семь лет. Сын конюха. Который через три минуты мог лишиться руки, потому что лекарь восемнадцатого века не знал разницы между закрытым переломом и открытым.

— Как тебя зовут? — Спросила я по-русски. Он не понял. Я повторила на горском — коряво, с чудовищным акцентом: — Имя?

— Ахмед, — прошептал он.

— Ахмед, я — Дари. Я помогу тебе. Будет больно, но потом станет лучше. Ты мне веришь?

Он не понял половины слов. Но голос — голос он понял. Тот самый голос, который я шесть лет тренировала на вызовах: спокойный, тёплый, надёжный. Голос, который говорит: «Я здесь. Я знаю. Всё будет хорошо».

Мальчик кивнул.

Я повернулась к Нурали. Он стоял — красный, с раздутыми ноздрями, как бык перед атакой.

— Мне нужны две дощечки, — сказала я. — Ровные, длиной от локтя до кончиков пальцев. Ткань для перевязки — чистая, длинная. И вода.

Нурали открыл рот. Закрыл. Открыл снова. Сказал что-то — на горском, яростное, шипящее. Один из воинов перевёл — скорее для себя, чем для меня: «Он говорит — женщина не может лечить. Это запрещено. Это — грех».

— Грех — отрезать здоровую руку ребёнку, — ответила я. — Дощечки. Ткань. Вода. Сейчас.

Конюх — отец — посмотрел на меня. Посмотрел на Нурали. Посмотрел на руку сына — скрюченную, распухающую, неправильную. И — побежал. К конюшне. Через минуту вернулся с двумя планками от ящика, относительно ровными. Один из воинов молча протянул флягу. Другой — снял с себя пояс и отрезал полосу ткани кинжалом.

Нурали стоял и смотрел. Не уходил. Не помогал. Смотрел — с выражением, которое я видела десятки раз на лицах коллег-мужчин, когда женщина делала что-то лучше них. Смесь ярости и неверия.

Плевать.

Я работала.

Осмотр. Пальпация — осторожная, мягкая. Мальчик вскрикнул, когда я тронула место перелома, но не отёрнулся. Храбрый. Перелом — да, обе кости предплечья. Смещение есть, но небольшое. Кожа цела, пульс на лучевой артерии — есть. Чувствительность пальцев — есть. Кровоснабжение не нарушено. Нервы целы.

Закрытый перелом обеих костей предплечья со смещением. Некритичный. Не требующий ампутации. Требующий репозиции и иммобилизации.

Вправления и шины.

— Ахмед, — я посмотрела ему в глаза. — Сейчас будет очень больно. Один раз. Коротко. А потом — лучше. Ты готов?

Он закусил губу. Кивнул.

Я посмотрела на конюха.

— Держи его. Крепко. За плечи. Не давай дёргаться.

Конюх не понимал русского, но воин перевёл. Отец опустил на колени, обхватил сына за плечи, прижал к себе. Глаза — мокрые, испуганные, — смотрели на меня с такой надеждой, от которой скручивало внутри.

Я взяла руку мальчика.левой рукой — за локоть, фиксируя. Правой — за кисть. Вспомнила. Лекция по травматологии, третий курс. Практика в травмпункте. Ротация на скорой — первый перелом, который я вправляла самостоятельно: пьяный мужик, упавший с крыльца, перелом лучевой кости. Татьяна Ивановна стояла рядом и командовала: «Тяга по оси, Ковалёва. Плавно. Не дёргай. Чувствуй кость. Кость — живая, она хочет на место. Помоги ей».

Кость хочет на место. Помоги ей.

— Прости, — шепнула я мальчику.

И потянула.

Тяга по оси предплечья — плавная, ровная, с нарастающим усилием. Пальцы чувствовали — через кожу, через мышцы — как кость двигалась. Сопротивлялась. Скрежетала — тихо, страшно, — и двигалась. Мальчик закричал — коротко, пронзительно, — и обмяк в руках отца.

Потерял сознание. Хорошо. Так — легче.

Я работала быстро — пока он без сознания. Довела репозицию до конца: кость встала на место — я почувствовала это руками, характерный мягкий щелчок, как будто паззл сложился. Проверила — ось ровная, деформации нет. Пульс — есть. Пальцы — розовые, тёплые, подвижные.

Шина. Две дощечки — одна с ладонной стороны, другая с тыльной. Между дощечкой и кожей — ткань, сложенная в несколько слоёв, чтобы не давило. Обмотка — полоски ткани, тугие, но не слишком. Зафиксировать лучезапястный сустав. Зафиксировать локтевой. Проверить — пальцы двигаются? Двигаются. Пульс? Есть. Цвет кожи? Нормальный.

Косынка — из моего платка, который я сдёрнула с головы, не задумываясь. Подвесить руку к шее, чтобы не болталась.

Всё.

Я выдохнула.

Мальчик открыл глаза. Посмотрел на свою руку — замотанную, зафиксированную, неподвижную. Пошевелил пальцами. Поморщился — больно. Но не кричал. Боль была другой — тупой, ноющей, терпимой. Не той раздирающей, рвущей, от которой темнеет в глазах.

— Не двигай рукой, — сказала я. — Четыре недели. Кость срастётся. Рука будет работать. Понял?

Он не понял. Но — улыбнулся. Криво, мокро, по-детски. И сказал что-то на горском, тихо, одно слово.

Воин перевёл: «Спасибо».

Конюх — отец — стоял на коленях, прижимая сына к себе, и плакал. Молча, без звука, только плечи тряслись. Он поднял на меня глаза — и в них было что-то, от чего я сама чуть не заплакала. Благодарность. Не светская, не вежливая — первобытная, звериная, от которой сжимается горло.

Его сын — цел. Его сын — с рукой. Его сын — будет конюхом, воином, мужчиной. Не калекой.

Потому что — я это я.

Тишина. Двор молчал.

Я стояла на коленях рядом с мальчиком, с руками, перепачканными чем-то — пылью? Потом? — И только сейчас осознала, что произошло.

Я вправила перелом. Публично. Перед всеми. Оттеснив местного лекаря. Женщина — на мужском дворе. Русская — чужачка. Невеста князя — та, которой положено сидеть в женских покоях и вышивать, а не ползать по камням, хватая детей за сломанные руки.

Люди стояли вокруг — полукругом, тесным, молчаливым. Конюхи, воины, кузнец, слуги, мальчишки, которые залезли на стену, чтобы лучше видеть. Десятки лиц. Десятки пар глаз. И на каждом лице — одно и то же выражение.

Шок.

Не ужас. Не отвращение. Не гнев. Шок — чистый, незамутнённый, как горный воздух. Шок людей, которые увидели нечто невозможное. Как если бы корова вдруг заговорила. Или камень — зацвёл.

Первым опомнился старик — тот самый, седобородый, который на ярмарке одобрил мои бёдра. Он стоял у стены, опираясь на палку, и смотрел на меня. Потом — произнёс слово. Одно слово, на горском, тихо, но так, что слышали все.

Двор загудел. Слово прокатилось по рядам — от одного к другому, как камень, брошенный в воду. Люди переглядывались. Кто-то кивал. Кто-то качал головой. Кто-то смотрел на меня с новым выражением — не шок, а что-то другое. Благоговение? Страх? Уважение?

Я не знала, что он сказал. Узнала позже — от Хадижи, которая прибежала, задыхаясь, и пересказала шёпотом.

«Дар-хан» — Целительница, отмеченная Богом.

Я поднималась по лестнице — обратно на женскую половину, мокрая от пота, с дрожащими руками и стуком сердца, который, казалось, слышал весь Тёмный Дом, — когда он меня нагнал.

Нурали.

Я не услышала шагов — он двигался тихо, как кошка. Или как змея. Просто — голос за спиной. Тихий, свистящий, как лезвие, которое достают из ножен.

Русский — ломаный, с тяжёлым акцентом, но понятный:

— Ведьма.

Я остановилась. Не обернулась. Стояла на ступеньке — одна нога выше, другая ниже — и слушала.

— Руки ведьмы, — прошипел он. — Женщина не лечит. Женщина не знает. Ты — шайтан. Нечистая. Я скажу мулле. Скажу старейшинам. Скажу князю. Ты будешь гореть.

Я медленно обернулась.

Нурали стоял двумя ступеньками ниже. Маленький — ниже меня на полголовы, — сухой, с козлиной бородкой, которая тряслась от ярости. Глаза — мутные, жёлтые, как у старого кота. Руки — сжаты в кулаки.

Он был жалок. И — опасен. Жалкие люди всегда опасны, я знала это по скорой. Пьяный мужик с ножом опасен не потому, что силен, а потому, что ему нечего терять.

— Я не ведьма, — сказала я ровно. — Я помогла ребёнку. Его рука цела. Он будет здоров. Разве это — зло?

— Женщина не лечит! — Повторил Нурали, и в его голосе было что-то большее, чем оскорблённая гордость. Страх. Он боялся. Боялся меня — потому что я сделала то, чего он не мог. Боялся — потому что, если я могу, значит, он — не нужен.

Страх делает людей жестокими. Это я тоже знала.

— Ведьма, — повторил он. Тише. Как приговор. — Руки ведьмы.

И — ушёл. Вниз по лестнице, в темноту коридора. Маленький, злой, опасный.

Я стояла на ступеньке и дышала. Вдох — два-три-четыре. Выдох — два-три-четыре.

«Руки ведьмы».

Нет, Нурали. Руки фельдшера. Руки, которые шесть лет собирали людей по частям, оставивали кровь, запускали сердца. Руки, которые сегодня спасли мальчику руку — потому что ты собирался её отрезать, потому что ты не знаешь разницы между переломом и гангреной, потому что единственное, что ты умеешь — это пускать кровь и бормотать заговоры.

Руки фельдшера.

Мои руки.

Я посмотрела на них — широкие ладони, короткие ногти, веснушки на тыльной стороне. Руки, которые Игорь ни разу не похвалил, которые мама считала «слишком большими для девушки», которые коллега Серёга на скорой называл «клешнями» — ласково, но всё же.

Руки, которые сегодня вправили перелом ребёнку.

Руки, из-за которых меня называли ведьмой.

Я усмехнулась. Горько, одними губами.

«Добро пожаловать в восемнадцатый век, Ковалёва. Здесь за медицинские знания не дают диплом. Здесь за них — сжигают».

Я поднялась по лестнице. На женскую половину. В свои комнаты. К Хадиже, которая ждала у двери с круглыми глазами и тысячей вопросов.

И только потом — через час, когда Хадижа пересказала мне всё, что слышала во дворе, — я узнала.

— Он видел, — сказала Хадижа. Шёпотом. Как секрет.

— Кто?

— Князь. Тамирлан. Он стоял на галерее. Наверху. Смотрел.

Я замерла.

— Всё время?

— Всё время. С начала до конца. Как ты пришла. Как осматривала. Как вправляла. Как дощечки складывала и привязывала. Всё.

Я вспомнила — галерея. Второй этаж. Открытая, с деревянными перилами, нависающая над двором. Я её видела, но не смотрела — мне было не до галерей, когда ребёнок кричал.

Он стоял там. Смотрел. Молча.

— И что? — спросила я. — Что он сказал?

Хадижа замялась.

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего. Стоял, смотрел. Потом ушёл.

Ничего. Стоял. Смотрел. Ушёл.

Янтарные глаза — с галереи, сверху, через двор, через толпу — смотрели, как я стояла на коленях перед чужим ребёнком и делала то, что умела. То единственное, в чём я была уверена. То, ради чего, может быть, оказалась здесь.

И — ничего не сказал.

Я не знала, хорошо это или плохо.

Я не знала — и это пугало больше всего.

## Глава 12. Ужин с волком

### Дарина

Приглашение пришло на следующий день.

Вернее — не приглашение. Приказ. В восемнадцатом веке, как я быстро усвоила, разница между первым и вторым определялась исключительно тоном голоса. Тон был вежливым, но суть — безальтернативной.

Посыльный — мальчишка лет двенадцати, в чистой рубахе и с лицом, выражающим священный ужас перед женской половиной дома, — принёс записку. Да, записку. На бумаге. Написанную от руки, чёрными чернилами, аккуратным, чуть угловатым почерком.

«Сегодня. После заката. Малая трапезная. Ужин».

Ни подписи, ни обращения, ни «пожалуйста», ни «если вам удобно». Просто — координаты и время. Как приказ на построение. Или — как вызов к пациенту: адрес, время, диагноз. Поехали.

— Он хочет ужинать с тобой, — Хадижа прочитала записку через моё плечо и побледнела. Потом покраснела. Потом побледнела снова — она меняла цвета, как хамелеон на нервной почве. — Наедине. Дари, это... это не по обычаю.

— Я заметила.

— Невеста не должна видеть жениха до свадьбы! Тем более — ужинать! Тем более — наедине!

— Хадижа, у нас наедине или за ширмой?

— За ширмой, конечно. Я буду стоять. Или другая служанка. Приличия есть приличия. Но всё равно — это... — она заломила руки, — это неслыханно!

— Неслыханно — это когда я вправляла мальчику руку во дворе при всех. А это — просто ужин.

— Просто ужин, — повторила Хадижа с таким выражением, как будто я сказала «просто прыжок со скалы». — Ладно. Просто ужин. Тогда тебе нужно платье.

— На мне платье.

— Тебе нужно ДРУГОЕ платье.

Другое платье нашлось в сундуке Айшат — она прислала его через Фатиму, без комментариев, но с взглядом, который Фатима передала словами: «Госпожа сказала — не опозорь».

Платье было тёмно-красным. Тяжёлый шёлк — настоящий, видимо, привезённый караваном из Персии или Турции, — с золотой вышивкой по вороту и подолу. Мягкий, скользкий, прохладный на ощупь. Он обнимал тело, как вода — без давления, без стеснения, просто... обтекал. Каждый изгиб, каждую линию.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.